

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI

TOIMETISED

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS

513

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ТИПОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
XXXII

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. VIINIK 513 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ТИПОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
XXXII
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТАРТУ 1981

Редколлегия: В. И. Беззубов, С. Г. Исаков, Ю. М. Лотман (ответственный редактор), П. С. Рейфман.

Отв. ред. тома Ю. М. Лотман

«ДОГОВОР» И «ВРУЧЕНИЕ СЕБЯ» КАК АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ

Ю. М. Лотман

Анализируя наиболее архаические социо-культурные модели, мы можем выделить, в частности, две, представляющие особый интерес в свете их дальнейших трансформаций в истории культуры. С известной степенью условности одну из них мы будем именовать магической, другую — религиозной. Необходимо сразу же подчеркнуть, что речь идет не о каких-либо реальных культурах, а о типологических принципах. Выявившиеся в истории культуры религии, чаще всего, сложно состояются из обоих элементов. В некоторых мировых религиях, по нашей терминологии, доминирует магия.

Магическая система отношений характеризуется: 1) взаимностью; это означает, что участвующие в этих отношениях агенты оба являются действующими (например, колдун совершает определенные действия, в ответ на которые заклиная сила совершает свои). Односторонние действия в системе магии не существуют, т. к. если колдун в силу своего незнания совершает неправильные действия, которые бессильны вызвать заклиная силу и заставить ее действовать, то такие слова и жесты в системе магии действиями не признаются. 2) Принудительностью; это означает, что определенные действия одной стороны влекут за собой обязательные и точно предусмотренные действия другой. В магических отношениях зафиксированы многочисленные тексты, свидетельствующие о том, что колдун заставляет потустороннюю силу явиться и действовать против ее воли, хотя и располагает меньшей мощью. Совершение определенных действий одной стороной требует ответных определенных действий со стороны другой. В этом случае власть как бы распределяется поровну: потусторонние силы властны над колдуном, а он властен над ними. 3) Эквивалентностью. Отношения контрагентов в системе магии носят характер эквивалентного обмена и могут быть уподоблены обмену конвенциональными знаками. 4) Договорностью. Взаимодействующие стороны вступают в определенного рода договор. Договор этот может иметь внешнее выражение (заключение

контрактов, клятвы соблюдения условий и проч.) или быть подразумеваемым. Однако наличие договора подразумевает и возможность его нарушения в такой же мере, в какой из конвенционально-знаковой природы обмена вытекает потенциальная возможность обмана и дезинформации.¹ Отсюда с неизбежностью вытекает возможность различных толкований договора и стремление каждой из сторон вложить в выражение договорных формул выгодное ей содержание.

В основе религиозного акта лежит не обмен, а безоговорочное вручение себя во власть. Одна сторона отдает себя другой без того, чтобы сопровождать этот акт какими-либо условиями, кроме того, что получающая сторона признается носителем высшей мощи.² Отношения этого типа характеризуются: 1) односторонностью; они имеют однонаправленный характер: отдающий себя во власть субъект рассчитывает на покровительство, но между его акцией и ответным действием нет обязательной связи; отсутствие награды не может служить основанием для разрыва отношений. 2) Из оказанного вытекает отсутствие принудительности в отношениях: одна сторона отдает все, а другая может дать или нет, так же как она может отказать достойному (дарителю) и отдать недостойному (не участвующему в данной системе отношений или нарушающему ее). 3) Отношения не имеют характера эквивалентности: они исключают психологию обмена и не допускают мысли об условно-конвенциональном характере основных ценностей. Поэтому средствами коммуникации являются в этом случае не знаки, а символы, природа которых исключает возможность отчуждения выражения от содержания и, следовательно, обмана или толкования. 5) Следовательно, отношения этого типа имеют характер не договора, а безусловного дара.

Следует подчеркнуть, что речь идет о модели культурпсихологии этих типов отношений — реальные мировые религии никогда не могли обходиться без той или иной степени участия магической психологии. Например, отказываясь от мысли об эквивалентно-обменном характере в отношениях между человеком и богом в пределах земной жизни, они, в ряде случаев, включали идею загробного воздаяния, устанавливая систему принудительного (т. е. однозначно-обусловленного и, следовательно, справедливого) отношения между земной и потусторонней жизнью.

Ср. противоположное мнение св. Августина, согласно которому конечное спасение или проклятие человека не зависит от его добродетели, а целиком определяется произволом Бога.

¹ См.: Claude Reichler, *La diabolie, la séduction, la renardie, l'écriture*, éd. deminuit, Paris, 1979.

² Имеется в виду именно мощь, а не благодать, поскольку возможно религиозное поклонение и злым силам.

Официальная церковь римской империи последних веков, за фасадом которой таились глубоко сокрытые культы религиозного характера, была магической. Система жертвоприношений богам составляла основу договорных с ними отношений, а официальное поклонение императору имело характер конвенции с государством. Именно в силу отмеченных выше черт магизма, «религия» римлянина не противоречила ни его развитому и укоренившемуся в самых глубинах его культурной психологии юридическому мышлению, ни всей структуре разработано-правового государства. Христианство, с позиции римлянина, было глубоко антигосударственным началом, поскольку представляло собой религию в самом точном значении этого слова и, следовательно, исключало формально-юридическое, договорно-правовое сознание. А отказ от этого сознания был для человека римской культуры отказом от самой идеи государственности.

Языческие культы на Руси имели, видимо, шаманистский, т. е. магический характер. Совпадение принятия христианства Русью и возникновения киевской государственности повлекло ряд существенных последствий в интересующем нас аспекте. Сложившееся двоеверие давало две противоположные модели общественных отношений. Нуждавшиеся в оформлении отношения князя и дружины тяготели к договорности. Такая модель наиболее адекватно отражала складывающуюся систему феодальных связей, основанных на патронате — вассалитете, всю структуру взаимных прав — обязанностей и этикетно-знакового обмена, на которых покоилось идеологическое оформление рыцарского общества. Традиция русского магического язычества органически входила здесь в тот порядок, который образовывался в результате европейского синтеза племенных установлений варварских народов и римской юридической традиции, прочно державшейся в старых городах империи с их отстаивающими свои права коммунами, сложной системой правовых отношений и обилем юристов.

Однако, если на Западе договорное сознание, магическое по своей далекой основе, было окружено авторитетом римской государственной традиции и заняло равноправное место рядом с религиозно-авторитарным, то на Руси оно осознавалось как языческое по своей природе. Это накладывало печать на его общественную оценку. Показательно, что в западной традиции договор как таковой не имеет оценочной природы: его можно заключать и с дьяволом (напр., в житии св. Теофила, который продал душу дьяволу, а после выкупил ее покаянием), но возможен и договор с силами святости и добра. Так, в «Цветочках знаменитого мессира св. Франциска» содержится известный рассказ о договоре между Франциском Ассизским и свирепым волком из Губбио. Обвинив волка в том, что он ведет себя «как негодяй и худший човекоубийца», пожирая не только

животных, но и покушаясь на людей, которые несут на себе образ божий, Франциск заключил: «Брат волк, я хочу утвердить мир между тобой и ими <жителями области Губбио. — Ю. Л.>». Франциск предложил волку эквивалентный обмен: он, волк, откажется от своих злодеяний, а жители Губбио перестанут его преследовать и будут снабжать пищей. «Обещаешь ли ты это? — И волк, наклоня голову, сделал очевидный знак того, что обещает».³ Договор был заключен и соблюдался обеими сторонами до смерти волка.

Ни в русской народной, ни в средневеково-книжной традиции Руси подобные тексты нам неизвестны: договор возможен только с дьявольской силой или с ее языческими адекватными (договор мужика и медведя). Это, во-первых, накладывает эмоциональный отсвет на договор как таковой — он лишен ореола культурной ценности. В рыцарском быту Запада, где отношения с Богом и святыми могут моделироваться по системе «сюзерен — вассал» и подчиняться условному ритуалу типа посвящения в рыцари и служения Даме, договор, скрепляющий его ритуал, жест, пергамент и печати осеняются ореолом святости и получают высший ценностный авторитет. На Руси договор воспринимается как дело чисто человеческое (в значении: «человеческое» как противоположное «божественному»). Введение крестного целования в тех случаях, когда необходимо скрепить договор, свидетельствует именно о том, что без безусловного и внедоговорного божественного авторитета он недостаточно гарантирован. Во-вторых, во всех случаях, когда договор заключается с нечистой силой, соблюдение его греховно, а нарушение — спасительно. Именно в общении с нечистой силой выступает условность словесно-знаковой коммуникации, позволяющая пользоваться словами для обмана. Возможность различных толкований слова (казуистика) также отождествляется не с выяснением его истинного значения, а с желанием обмануть (ср. у Достоевского: «Аблакат — продажная совесть»). Ср. эпизод из сказки «Змей и цыган»⁴: Змей и Цыган догово-

³ Цит. по: I Fioretti del glorioso messere Santo Francesco e de' suoi Frati, ed. G. L. Passerini, Firenze, 1903, pag. 58—62. Русский перевод см. в кн.: Сказание о бедняке Христове (Книга о Франциске Ассизском), М., 1911.

⁴ № 149 по изд.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Под ред. М. К. Азадовского, Н. П. Андреева, Ю. М. Соколова, т. I—III, Academia, М., 1936—1939; в издании под ред. А. Е. Грузинского (1897 и 1913—1914) — № 86. При договоре с нечистой силой обычный способ нарушения договора — покаяние (ср. «Повесть о Савве Грудцыне»). Более сложный вариант — апокриф об Адаме. Известен текст (А. Н. Пыпин сообщает, что он извлечен из старообрядческой рукописи, но не указывает данных о ней), согласно которому Адам заключил договор с дьяволом в обмен на исцеление Евы и Каина: «И рече диавол: «Даси на ся рукописание: <...> «Живый Богу, а мертвый тебе» (Н. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы, т. I, СПб., 1863, с. 16). Однако характерно, что, видимо, более распространенным был текст, в котором Адам, заключая договор,

рились соревноваться в свисте — «Змей как свистнул — со всех деревьев лист осыпался. «Хорошо, брат, свистишь, а все не лучше моего, — сказал цыган. — Завяжи-ка наперед свои бельмы, а то как я свистну — они у тебя изо лба повыскачут!» Змей поверил и завязал платком свои глаза: «А ну, свисти!» Цыган взял дубину да как свистнет змея по башке...» Игра словами, обнажающая условную природу знака и превращающая договор в обман, возможна в отношении к черту, змею, медведю, но немыслима в общении с Богом и миром святости. Известна поговорка Даниила Заточника: «Лжи бо, рече, мирови, а не Богу: Богу нелзѣ солгати, ни вышним играти.» Показательно, что «солгати» и «играти» прививаются.

В связи с этим система отношений, устанавливавшаяся в средневековом обществе, — система взаимных обязательств между верховной властью и феодалами — получает уже весьма рано отрицательную оценку. Так, Даниил Заточник, уверяя князя, что «думцы» — лукавые слуги и введут своего государя в печаль, противопоставляет им идеал преданности: сам он не стыдится сравнения со псом. «Или речеши, княже: солгал еси, аки пес. То добра пса князи и бояре любят». Служба по договору — плохая служба. Еще Петр I будет с раздражением писать кн. Б. Шереметьеву, которого он подозревает в тайной симпатии к старинным боярским правам: «Сие подобно, когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справится, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды вынуть.»⁵ Слова эти можно сопоставить с письмом Курбатова Петру: «Истинно желаю работать тебе, государю, без всякого притворства, как Богу.»⁶ Сравнение это не случайно — оно

сознательно обманывал дьявола. После изгнания из рая Адам запряг вола и начал пахать землю. «И прииде дьяволъ: «Не дам тебѣ земли работати, понеже моя есть земля, а божия суть небеса и рай <...> Напиши мнѣ рукописание свое, да еси мой, тогда мою землю работай», Адам рече: «Чья есть земля, того еси и азъ и чада моя». Далее автор объясняет, что Адам хитро обманул дьявола: он знал, что земля принадлежит сатане временно, что в будущем Христос воплотится («яко Господь снити хочет на землю и родитися от дѣвы») и выкупит своей кровью землю и людей у дьявола (там же, с. 4).

В западноевропейской традиции договор нейтрален: он может быть и хорошим и плохим, а в специфически-рыцарском варианте с его культом знака соблюдение *слова* делается предметом чести. Характерны сюжеты о рыцаре, соблюдающем слово, данное сатане (ср. инверсию в легенде о Дон Жуане: нарушая все обязательства религии и морали, он выполняет слово, данное статве командора). В русской традиции договор заимствует свою «крепость» от святыни, которой поручается его хранение. Договор же, не освященный авторитетом неконвенциональной власти веры, «крепости» не имеет. Поэтому слово, данное сатане (или его земным заместителям), надо нарушить.

⁵ Письма и бумаги Петра Великого, т. III, с. 265.

⁶ С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. IV, СПб., изд. «Общественная польза», стб. 5.

имеет глубокие корни. Централизованная власть в гораздо более прямой форме, чем на Западе, строилась по модели религиозных отношений. Построенная в «Домострое» изоморфная модель: Бог во вселенной, царь — в государстве, отец — в семье — отражала три степени безусловной врученности человека и копировала религиозную систему отношений на других уровнях. Возникавшее в этих условиях понятие «государевой службы» подразумевало отсутствие условий между сторонами: с одной — подразумевалась безусловная и полная отдача себя, а с другой — милость. Понятие «службы» генетически восходило к психологии несвободных членов княжеского вотчинного аппарата. По мере того как росла роль этой лично зависимой от князя бюрократии, превращавшейся в бюрократию государственную, а также роль наемного войска князя, «воинников», психология княжеского двора делалась государственной психологией служилого люда. На государя переносились религиозные чувства, служба превращалась в служение. Достоинство определяется милостью: «Не твоя б государская милость, и яз бы што за человек?» — пишет Василий Грязной Ивану Грозному (Грязной — опричник, принадлежал к боярскому роду).

Столкновение этих двух типов психологии можно проследить на всем протяжении русского средневековья. Причем если психология обмена и договора культивирует знаковость, ритуал, этикет, то государственно-религиозная позиция ориентируется на символизм и практицизм. Парадоксальное сочетание этих двух последних качеств не должно удивлять. Рыцарская культура ориентирована на знаковость. Для того, чтобы приобрести культурную ценность, вещь в этой системе должна сделаться знаком, т. е. быть максимально очищена от своей практической внезаковой функции. Так, «честь» для феодала древней Руси связывалась с получением от сюзерена богатой части военной добычи или большого подарка. Однако, получив награду, ее следовало по законам чести употребить так, чтобы максимально унижить вещественную ценность и, тем самым, подчеркнуть знаковую: «Орьтьмами и япончицами, и кожуху начаша мосты мстити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякими узорочы Половѣцкыми.»⁷ Образец рыцарского поведения дан в русской редакции поэмы о Дигенисе Акрите — «Девгениевом деянии» (перевод XI—XII вв.): богатырь Девгений решил добыть себе в жены «прекрасную Стратиговну», отец и братья которой убивали всех искателей ее руки; когда он приехал на двор Стратига, девица была одна — отец и братья находились в отлучке. Девгений мог беспрепятственно увести свою возлюбленную, но он приказал ей остаться и сообщить отцу о предстоящем похи-

⁷ Слово о полку Игореве, Библиотека поэта, Л., 1952, с. 11 фототипического воспроизведения изд. 1800 г.

щении. Стратиг отказался верить. Между тем, Девгений разломал ворота и, въехав во двор, «начат велегласно кликати, Стратига вон зовы и сильныя его сыны, дабы видели сестры своя исхищение <курс. мой. — Ю. Л.>». Однако Стратиг и теперь отказался верить в то, что нашелся храбрец, вызывающий его на бой. Девгений, прождав три часа напрасно, увез невесту. Однако удача предприятия вызывает у Девгения не радость, а печаль: «Велика есмь срама добыл.»⁸ Он добивается все же боя, в котором побеждает отца и братьев невесты, берет их в плен, затем освобождает из плена, отпускает невесту домой, едет снова свататься и теперь уже получает невесту «с великою честью». Здесь все: невеста, бой, свадьба — превращено в знаки рыцарской чести и ценно не само по себе, а лишь в связи с этим, приписанным значением. Невеста ценна не сама по себе, а в связи с трудностью ее получения — без этих трудностей она теряет ценность, бой ценится не победой как таковой, а, во-первых, победой, одержанной по определенным условным правилам и, во-вторых, в максимально трудных условиях. Поражение и гибель при попытке выполнения невыполнимой задачи ценятся выше, чем победа и связанные с ней практические выгоды, полученные путем расчета, практической сметки или обычных военных усилий. Эффектность ценится выше, чем эффективность. Безданная попытка Игоря Святославовича с малой дружиной «поискать прада Тьмутаракани» вдохновляет автора «Слова» больше, чем скромные, но весьма результативные действия объединенной дружины русских князей в 1183—1184 гг. Такова же психология и певца «Песни о Роланде». Знаковый характер поведения заставляет акцентировать момент игры: практический результат как цель действия заменяется правильностью пользования языком поведения. Так, в западноевропейском рыцарском быту турнир становится равноценным бою. На Руси функцию турнира в быту феодала принимает охота. Она становится специфической игрой, концентрирующей знаковые ценности рыцарского боевого поведения. Не случайно Владимир Мономах перечислял свои охоты рядом с боевыми подвигами как равные предметы гордости.

Поведение противоположного типа исключает условность: основным признаком его является ориентация на отказ от игры и релятивности семиотических средств и отождествление безусловности с истинностью. Безусловность социального смысла поведения проявляется здесь двояко: для социального верха — тяготение к символизму поведения и всей системы семиотики, для низа — ориентация на нулевой уровень семиотичности, перенесение поведения в чисто практическую сферу.

Разницу между знаком и символом как выражением услов-

⁸ В. Д. Кузьмина, Девгениево деяние. М., 1962, с. 149.

ного и безусловного в семиотике отмечал Ф. де Соссюр: «Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например колесницей.»¹⁰

Власть в перспективе символического сознания русского средневековья наделяется чертами святости и истины. Ценность ее безусловна — она образ небесной власти и воплощает в себе вечную истину. Ритуалы, которыми она себя окружает, являются подобием небесного порядка. Перед ее лицом отдельный человек выступает не как договаривающаяся сторона, а как капля, вливающаяся в море. Отдавая себя, он ничего не требует взамен, кроме права себя отдавать. Так, Шафиров, находясь в Стамбуле и советуя после Полтавской битвы совершить вооруженную диверсию с целью похищения с турецкой территории Карла XII, писал Петру I: «А хотя и дознаются, что это сделано с русской стороны, то ничего другого не будет, как только что я здесь пострадаю.»¹¹ Можно было бы привести много аналогичных примеров. Существенно здесь то, что носитель конвенциональной психологии, сталкиваясь с необходимостью пожертвовать жизнью, рассматривал смерть как акт обмена жизни на славу: «Аще мужь убьен есть на рати, то кое чюдо есть? — говорил своим воинам Данила Галицкий, — Инии же и дома умирают без славы, си же со славою умроша.»¹² С противоположной позиции не может идти и речи об обмене ценностей: возникает поэзия безымянной смерти. Наградой является растворение в абсолюте, от которого не ждут никакой взаимности. Дракула не обещает своим воинам славы и не

¹⁰ Фердинанд де Соссюр, Труды по языкознанию, М., 1977, с. 101. В русском переводе высказывание звучит менее категорично, чем в оригинале: «никогда не является полностью условным» («n'être jamais tout à fait arbitraire» (F. de Saussure, Cours de linguistique générale, éd. de 1962, 1962, p. 101). Аргументированное разграничение знака и символа см.: Tzvetan Todorov, Introduction à la symbolique, Poétique, 1972, № 11, pp. 275—286 («Signe et symbole»); Tzvetan Todorov, Théories du symbole, éd. du Seuil, Paris, 1977, pp. 9—11 et squ. В наполнении понятия «символ» мы идем за Соссюром, а не Пирсом, который противопоставлял его «икону», как основанному на социальной конвенции. Неконвенциональная природа символа не снимает, однако, его отличий от иконических знаков. Хотя и те и другие исходят из принципа подобия, между ними существует важное различие: подобие в символе имеет риторический характер (невидимое передается через видимое подобие, бесконечное через конечное, недискретное через дискретное и т. д.: уподобляющееся и уподобляемое находятся в смысловых пространствах с разным числом измерений), подобие в иконических знаках имеет более рациональный характер. Здесь возможно по изображению однозначно реконструировать изображаемое, что в системе символов в принципе исключается.

¹¹ С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. IV, стб. 42.

¹² ПСРЛ, т. II, изд. 2-е, СПб., 1908, с. 822. Курс. мой — Ю. Л.

связывает гибели с идеей справедливого воздаяния¹³ — он просто предлагает им смерть по его приказу безо всяких условий: «Хто хочет смерть помышляти, тот не ходи со мною на бой.»¹⁴

Распространяя на государственность религиозное чувство, социальная психология этого типа требовала от общества как бы передачи всего семиозиса царю, который делался фигурой символической, как бы живой иконой.¹⁵ Уделом же остальных членов общества делалось поведение с нулевой семиотикой. От них требовалась чисто практическая деятельность (показательно, что практическая деятельность при этом продолжала в ценностном отношении котироваться весьма низко; это давало возможность Грозному называть своих сотрудников «страдниками» — они как бы низводились на степень, на которой в ранне-феодальном обществе были только холопы, находившиеся вообще вне социальной семиотики). От подданных требуется практическая служба, приносящая реальные результаты. Их работа о социально-знаковой стороне своей жизни и деятельности воспринимается как «лень», «лукавство» или даже «измена». Показательно изменение отношения к охоте: из дела чести она превращается в поносную забаву, отвлекающую от государственных дел (за государем право на нее сохраняется, но именно как на забаву). Уже в «Повести о побониши иже на Пьянѣ» страсть нерадивых воевод к охоте противопоставляется государевой ратной службе: «Ловы дѣюще, оутѣхоу собѣ творяще, мняще, яко дома.»¹⁶ Позже в том же духе писал Грозный Василию Грязному: «Ино было не по объездному спати: ты чайал, что в объезд приехал с собаками за зайцы — ажно крымцы самого тебя в торок вязали.»¹⁷ И Грязной, который не оскорбился кличкой «страдника» (соглашаясь с царем, он отвечал: «Ты государь — аки Бог: из мала и велика чинишь»), тут обиделся и писал Грозному, что раны и увечия он получил не на охоте, а в бою, на государевой службе.

XVIII век принес глубокие перемены во всей системе культуры. Однако новый этап общественной психологии и семиотики культуры был трансформацией предшествующего, а не полным с ним разрывом. Наиболее заметным на культурно-бытовой поверхности жизни было изменение официальной идеологии.

¹³ Ср.: «Смерть на поле брани обычно называется «суд» (Н. А. Мещерский, История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе, М.—Л., 1958, с. 85).

¹⁴ Повесть о Дракуле, М.—Л., 1964, с. 127.

¹⁵ Именно символическая, а не знаковая природа авторитета царской власти исключала для царя возможности игрового поведения. В этом отношении момент игры в поведении Грозного воспринимался и субъективно, и объективно как сатанизм.

¹⁶ ПСРЛ, т. IV, ч. I, вып. I, Пг., 1915, с. 307.

¹⁷ Послания Ивана Грозного, М.—Л., 1951, с. 193.

Государственно-религиозная модель не исчезла, а подверглась интересным трансформациям: в аксиологическом отношении верх и низ ее поменялись местами. Практическая деятельность из области «низкого» была поднята на самый верх ценностной иерархии. Десимволизация жизни, сопровождавшаяся демонстративным затапыванием символики предшествующего периода в грязь и выставлением ее на публичное осмеяние, поднимала авторитет практического дела. Поэзия ремесла, полезных умений, действий, которые не являются ни знаками, ни символами, а ценны сами собой, составляла значительную часть пафоса петровских реформ и научной деятельности Ломоносова. О. Мандельштам видел в этом пафосе суть XVIII столетия: «Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, и сейчас мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
которые стекло чтут ниже минералов.

Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности, какая разительная противоположность с блестящим и холодным безразличием научной мысли девятнадцатого столетия?»

В поведении Петра I подчеркивалось, что он

Рожденны к скипетру простер в работу руки
(Ломоносов)

Идеал царя-работника неоднократно повторялся от Симеона Полоцкого («Делати» из сб. «Ветроград многоцветный») до «Стансов» Пушкина. Однако перевернутая система не только отличалась, но и сходствовала со своей исходной формой: петровская государственность не была воплощенным символом, т. к. сама представляла конечную истину и, не имея инстанции выше себя, не была ничьей представительницей и образом. Однако она, как и допетровская централизованная государственность, требовала веры в себя и полного в себе растворения. Человек вручал себя ей. Создавалась светская религия государственности, и «практичность» переставала уже быть внесемiotической эмпирией.

Коренным образом изменился и удельный вес семиотики договора в общей структуре культуры эпохи. Почти полностью уничтоженная вместе со всем культурным наследием раннего русского средневековья, она получила мощную поддержку в западном культурном влиянии. В речах Феофана Прокоповича и других публицистов петровского лагеря получила развитие по-

литическая концепция Пуффендорфа и Гуго Гроция, своеобразно преломленная сквозь русскую традицию. Власть царя мыслится как данная от Бога и оправдывается ссылкой на апостола Павла (посл. к ефесянам, 6,5). Однако одновременно утверждается, что царь, приняв власть, вступает в безмолвный договор, обязуясь царствовать на благо подданных. Перестав быть символом, царь так же обязан практически служить подданным, как подданные ему: «Аще же всякий чин от бога есть, якоже ведение второе показывает, то самое нам нужнейшее и богу приятное дело, его же чин требует, мой — мне, твой — тебе, и тако о прочих. Царь ли еси, царствуй убо, наблюдая да в народе будет безпечалие, а во властех правосудие и како от неприятелей цело сохранити отечество. Сенатор ли еси, весь в том пребывай <...> И просто рещи, всяк разсуждай, чесого звание твое требует от тебе, и делом исполняй требование его.»¹⁸

Введение системы государственных отличий и чинов, конкурировавшей в XVIII в. с принципом безусловного и врожденного благородства по крови, также основано было на обмене достоинства на знаки. Эквивалентность этого обмена, нарушавшаяся на практике, в теории должна была строго соблюдаться. На это были ориентированы разработанные орденские статуты и система чиновпроизводства, основанная на строгой очередности стажа службы. То, что обойденный наградой мог по нравам и законам эпохи сам напоминать о себе и требовать награждения, перечисляя свои на него права, свидетельствовало, что в сознании эпохи это была не незаконная милость, а урегулированный и подверженный правилам обмен обязательствами между служилым человеком и властью.

Дух договорности, пронизывающий культуру XVIII в., ставлял переосмыслить (или, хотя бы, перефразировать) оценку традиционных институтов. Так, характерно, что хотя все знают, что в России существует самодержавие и признание этого входит и в официальную идеологию (в частности, в официальную титулатуру), и, конечно, в государственную практику, признаваться в этом факте считается нежелательным нарушением хорошего тона. Екатерина II доказывает в «Наказе», что Россия — монархия, а не самодержавие, т. е. управляется законами, а не произволом, а Александр I будет неоднократно подчеркивать, что самодержавие — печальная необходимость, которой он лично не одобряет. Для него, как и для Карамзина, это будет факт, а не идеал. Особенно же проявится эта тенденция в осмыслении прав дворянства. Уже Кантемир во второй сатире («О благородстве», 1730 г.) рассматривал привилегии дворянина как аванс, получаемый за заслуги отцов, который

¹⁸ Феофан Прокопович, Сочинения, М.—Л., 1961, с. 98.

следует погасить личной службой государству. Мысль эта под пером писателей типа Сумарокова превратилась в теорию обмена личных заслуг на почести, получаемые за заслуги предков. Дворянин, который не имеет личных заслуг, подобен обманщику, берушему и ничего не дающему взамен:

Дворянско титло нам из крови в кровь лиется;
Но скажем: для чего дворянство так дается.
Коль пользой общества мой дед на свете жил;
Себе он плату, мне задаток заслужил:
А я задаток сей, заслугой взяв чужую,
Не должен класть его достоинства межю...
...Для ободрения пристойный взяв задаток,
По праву ль без труда имею я достаток?¹⁹

На этом фоне протекает и противоположный процесс: одновременно с тенденцией к рационализации знакового обмена, перенесению центра тяжести на его содержание существует и встречное течение — стремление к иррациональному выделению знаковости как таковой. Акцентируются условность, немотивированность знака, ритуал. Так, быстро развивающаяся замкнуто-дворянская культура культивирует этикет, театрализацию быта. Утверждается семиотика корпоративной чести, получают развитие поединки — ритуальная процедура восстановления оскорбленной чести.

Развивающаяся щегольская культура строится на игре, вытекающей из условной связи содержания и выражения знаков. Возникает потребность в словарях для изъяснения значений условных форм выражения, в частности, галантного языка любви. Так, по принципу обычного словаря (слово, пример фразеологического употребления, словарная статья) строится «Любовный лексикон» Дрё дю Радье, переработанный для русских условий А. В. Храповицким. Например:

Беспокойство <...> *Я терплю смертельное беспокойство.* Заключает в себе: «Я последуя принятым правилам, даю должной вид моей горячности»

Говорить <...> Естьлиже красавица скажет с приятностью: *Ты говоришь пустое*, то значит: «Хотя и хочу иметь любовника, но опасаюсь обычной вам нескромности» <...> *Опомнись, кому ты говоришь* или *я етова не понимаю* и прочим подобным словам приписывается такое же знаменование <...>

Мучение — Я терплю несносное мучение, значит по большей части: «Я притворюсь быть влюбленным; но вы, видевши часто

¹⁹ Сумароков, Стихотворения, Библиотека поэта, <Л.>, 1935, с. 203.

театр, думаете, что без мученья в любви не бывают; мне должно в вашу угодность набирать страстные слова...»²⁰

Такие же метатексты необходимы и для понимания языка мушек: «Мушка <...> бархатная на виске сказывает *нездоровье*, тафтяная на левой стороне лба — *гордость*, под нижней которой-нибудь ресницей — *слезы*, на верхней губе — *поцелуй*, на нижней — *склонность* и проч. Ключ от сей азбуки, так как и министерской <министр — зд.: посол, дипломат, — Ю. Л.> не одинаков; его избирают и переменяют для безопасности сношений своих по произволению.»²¹

Получают развитие языки вееров, цветов. Распространение маскарадов вносит элемент релятивности даже в, казалось бы, данные природой оппозиции: мужчины одеваются в женское, женщины — в мужское.²² Следует иметь в виду, что народное сознание остается на позициях отождествления немотивированного знака с дьявольским. С этим же связано распространенное в моралистической литературе толкование, связывающее знаковый релятивизм щегольской культуры с безбожием и моральным релятивизмом.

Ошибочно рассматривать щегольскую культуру XVIII в. с тех же позиций, что и ее критики, и видеть в ней лишь уродливую социальную аномалию. Именно в ее недрах вырабатывалось сознание автономности знака, явившееся важным стимулом для формирования личностной культуры эпохи романтизма. То, что у истоков этой культуры в России стоит Третьяковский с «Ездой в остров любви», а занавес над ней опускает Карамзин как автор «Писем русского путешественника», заставляет нас видеть в ней не только цепь карикатур от Корсакова из «Арапа Петра Великого» до Слюняя из «Трумфа» Крылова.

Напряженность социальных конфликтов в конце XVIII в. вызвала дальнейшие сдвиги в структуре языков культуры. Связанность мира знаков с социальной структурой общества дискредитировала в глазах просветителя XVIII в. знак как таковой. Вслед за Вольтером, просветители подвергли всесторонней критике «предрассудки вековые» (Пушкин), что на практике означало пересмотр всего запаса накопленных веками семиотических

²⁰ Любовный лексикон, пер. с французского, второе изд., в университетской типографии [марка Н. Н. <овикова>], 1779, сс. 9, 18, 42.

²¹ Любовь. Книжка золотая, Гл <еб> Гр <омов>, в Санктпетербурге, в типографии при губернском правлении, 1778 года, с. 134—135.

²² Ср. записку Екатерины II: Il m'est venu une idée fort plaisante. Il faut faire un bal à l'Ermitage <...> Il faut dire aux dames d'y venir en déshabillé et sans paniers, et sans grande parure sur la tête <...> Il y aura dans cette salle quatre boutiques d'habits, de masques d'un côté et quatre boutique d'habits, de masques de l'autre, d'un côté pour les hommes, de l'autre pour les dames <...> Aux boutiques avec les habits d'hommes il faut mettre l'étiquette en haut: «boutiques l'habillement pour les dames»; et aux boutiques d'habit pour les dames <...> «pour les messieur»... (Сочинения имп. Екатерины II, изд. ИАН, т. XII, СПб., 1907, с. 659).

представлений. Руссо, вскрыв ложь мира цивилизации, исходный ее принцип обнаружил в условности связи выражения и содержания в слове. Выдвинутое им противопоставление слова — интонации, жесту и мимике фактически означало антитезу немотивированного знака мотивированному. Однако, стремясь освободиться от знаков, Руссо свой социальный идеал строил на основе общественного договора, т. е. идеи эквивалентного обмена ценностями между людьми, что невозможно при уничтожении конвенциональности знаков. Отказываясь от социальной семиотики, он хотел сохранить ее результаты.

На противоположном полюсе сложилась масонская идеология. Масоны были противниками договорной теории общества. Ей они противопоставляли идею вручения себя некоему абсолюту (ордену, идеальному человечеству, Богу) и безвозмездного растворения в нем. Однако, субъективно ориентируясь на средневековье, они оставались людьми XVIII века: их эмблемы не были средневековыми символами — это был условный тайный язык для посвященных, который на семиотической шкале располагался ближе к языку мушек, чем к средневековой символической.

Обе попытки вырваться за пределы языковой условности оказались тщетными: XVIII век закончился двумя грандиозными маскарадами: «римским» маскарадом в революционном Париже и рыцарским — при дворе Павла I.

Рассмотрение материала XIX в. не входит в задачу данной статьи. Однако можно отметить, что в начале нового века идеи «вручения себя» и отказа от культуры, основанной на конвенциональной знаковости, вышли вновь на передний план. С одной стороны, это была архаическая идея провиденциальной миссии самодержавия, фанатически насаждавшаяся Николаем I, с другой — воодушевлявшая прогрессивную часть общества идея «вручения себя» объективным и безусловным ценностям: свободе, истории, народу, «общему делу».

ИСТОРИЯ ЮНОСТИ ПЕТРА I У П. Н. КРЕКШИНА

М. Б. Плюханова

В 1742 г. Петр Никифорович Крекшин поднес императрице Елизавете свое сочинение «Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого самодержца Всероссийского собранное чрез недостойный труд последнего раба Петра Крекшина дворянина Великого Новаграда». В этом толстом рукописном фолианте события жизни Петра были доведены до астраханского бунта 1706 г. Императрица поощрила автора к продолжению столь полезной деятельности, открыв ему доступ к документам петровского архива. Так Крекшин оказался в почти официальном ранге первого посмертного биографа Петра Великого. И хотя вскоре должность эта отошла к Вольтеру, Крекшин старательно и неутомимо продолжал свои занятия до последнего дня жизни.

Среди историков Крекшин имел впоследствии нелестную репутацию. В 1773 г. академик Миллер письмом предостерегал от него историка Бакмейстера: «Если рукопись о воспитании Петра Великого и проч. современна тем событиям, то она без сомнения замечательна; но я боюсь, чтобы та, которой вы доставили экземпляр, не была новой руки, напр. Крекшина — тогда она теряет овою достоверность. Крекшин сочинял что хотел, чтобы только можно было сказать что-нибудь о Петре Великом на каждый день, хотя бы это состояло лишь в том, что государь ходил в церковь или обедал с своею супругою и детьми. Крекшин был удивительный человек. Я не думаю, чтобы читатели узнали что-нибудь из его истории Петра Великого...»¹

В середине XIX в. о Крекшине отзывались еще более жестоко: «Он слагал предсказания, выдумывал речи, изобретал факты. Трудно вообразить, чтобы можно было так бессовестно обманывать современников и потомство, как обманывал Крекшин...»²

В современном источниковедении усилия этого биографа по-прежнему не находят одобрения: «Произведения П. Н. Крекшина только при самом большом оптимизме могут быть исполь-

зованы как исторический источник, но при совершенно непре-
менном условии проверки их другими источниками»³.

В работе Крекшина, поднесенной царице Елизавете, кроме всех прочих особенностей, содержались грубые ошибки, заметные при самом поверхностном чтении. Автор утверждал, например, что петровское войско вернулось благополучно из второго Крымского похода. Он случайно переставил этот поход на время после утверждения единовластия Петра. И ему пришлось войско, предводительствуемое В. В. Голицыным, назвать петровским, а катастрофический результат кампании признать благополучным. Убедительно и подробно Крекшин повествует о том, как английская королева Анна в 1697 г. демонстрировала Петру знаки своего исключительного благорасположения. Автора не смущает факт, что Анна утвердилась на английском престоле лишь через 5 лет — в 1702 г.

Впрочем, ошибки Крекшина могли остаться незамеченными. По свидетельству современников, сохраненному кн. Щербатовым, сама Елизавета Петровна не знала, «что Великобритания есть остров»⁴. Вероятнее всего, поощряя Крекшина, императрица руководствовалась только внушительным видом рукописи. «Краткое описание» представляло собой фолиант в 440 листов, а Елизавета Петровна откладывала непрочитанными даже короткие государственные бумаги⁵. Не сохранилось никаких сведений о передаче этого труда на прочтение и разбор в компетентные руки. Как бы то ни было, но Крекшина избрали в биографы Петру Великому, приставили к делу, получившему с начала царствования Елизаветы Петровны политическое значение. Признав серьезность крекшинских историографических принципов, правительство признало своим тот тип образованности, тот круг представлений, на какие опирался Крекшин. Значительно хуже гармонировали взгляды Крекшина с идеями современной ему академической историографии. Так например, в 1746 г. академик Миллер получил для ознакомления Родословие дома Романовых, составленное Крекшиным⁶. По обычаю многих летописцев XVII в., Крекшин возводил царствующий род к Гостомыслу⁷, а фактические неувязки этой концепции считал следствием порчи родословных книг, произведенной Борисом Годуновым. Миллер произвел на этом материале один из первых в России опытов источниковедческой критики. Он возражал по всем пунктам, в частности даже против общепринятой тогда версии убийства Годуновым царевича Дмитрия. Крекшин защищался ссылками на общее мнение, на предание, на слухи. В декабре 1747 г. он предложил Сенату сжечь все книги, в которых род Романовых производился не от Гостомысла. Желание его удовлетворено не было.

Не получил признания и грандиозный труд Крекшина «Описание о начале народа славянского». Это произведение ярко

характеризует творческие методы Крекшина. Главная мысль его была та, что все народы Европы произошли от Московского народа: «Понеже народ Московский источник есть всех народов, которые в Европе на Западе, Севере Полунощи...»⁸ Москвичи по обычаю того времени производились от Мосоха и т. д. Все свои мнения автор подтверждал потоком авторитетнейших имен древних и новых: «Плини[й], Птоломей, Ипократ, Овиди[й], Кедрин, Маркелл, Феофил, Феодорик и протчие многие истории писатели писаша страну Московскую и народ Московский»⁹.

В глазах своих высокопросвещенных современников Крекшин часто оказывался лишь фальсификатором. Татищев скомпрометировал его публично, выразив в своей Истории негодование по поводу вымыслов некоего Новгородского Летописца, доставленного ему Крекшиным. По описанию Татищева С. Л. Пештич опознал в этом печально знаменитом баснословии «Временник Русский»¹⁰, сняв тем самым с Крекшина подозрение в фальсификации. С именем Крекшина связывалось также происхождение сомнительной Иоакимовской летописи¹¹. Но отношение к этому тексту как к подделке было обусловлено недоразумением: вполне традиционную летопись конца XVII в. пытались датировать временами крещения Руси.

Историографические неудачи Крекшина являются косвенным отражением некоторых универсальных свойств пореформенной культуры. Общеизвестны издержки культурного поворота, завершившегося в эпоху Петра I — разрыв временных связей, ускоривший забывание традиций, и потеря взаимопонимания между культурными слоями с разным типом и степенью образованности. В качестве следствия этого двойного разобщения можно рассматривать и особенности крекшинского творчества, и его репутацию, сплошь обусловленные такими факторами, как неадекватность восприятия, неполнота понимания, недоразумения, неведение. Крекшина считали одиноким лжецом-авантюристом. Но по составу принадлежащих ему рукописей и по характеру собственных трудов Крекшин был носителем весьма распространенной в конце XVII — начале XVIII вв. версии происхождения русского народа и русских великих князей. И Иоакимовская летопись, и Временник Русский, и его труды по генеалогии славян и пр., при всех их различиях, определяются единой продуктивной для XVII в. формой, называемой в современном источниковедении «повестью о старобитных князьях»¹². Весь строй крекшинских произведений — и методы этимологизации, и характер отсылок, и самый жанр — генеалогия русского народа — всё это имело вполне реальные корни в русском летописании XVII в.¹³

Этот жанр сохранял обаяние еще и для XIX в. В таких сочинениях романтики хотели видеть некий национально-патриотический эпос. Н. М. Карамзину приходилось выслушивать

упреки за отсутствие блестящей поэтической версии происхождения русских в «Истории государства Российского»¹⁴. По содержанию труды Крекшина могли бы ответить потребностям будущих поколений, но в них не было ничего поэтического: автор не знал меры в употреблении традиционных приемов устаревающего летописания. Иррационализм крекшинских версий уже начинал утрачивать национально-историческое оправдание и еще не получил оправдания поэтического.

В пореформенную эпоху старая летописная традиция генеалогий поддерживалась преимущественно многочисленными рукописными списками. Рукописная литература, теснимая гражданской печатью, становилась в этот период достоянием средних полуобразованных слоев общества, не имевших доступа к академическим изданиям и западному просвещению¹⁵. Столь бурные тогда академические споры по проблемам происхождения славян не доносились до рукописной литературы. Рукописные сказания о начале русского народа не поколебались в своей авторитетности и сохранили власть над обыденными представлениями русского, «демократического» по своему образовательному цензу, читателя. Миллер в споре с Крекшиным, полагая, что борется с невежеством и недобросовестностью, сам того не зная или не желая знать, боролся с ещё живым историческим преданием. Факт личного невежества Крекшина оспаривать не приходится. Это был не слишком прамотный русский дворянин, патриотическим чувством завлеченный в дебри академической историографии, в непосильные для него отношения коллегиальности с Татищевым, Миллером, Ломоносовым и пр. Но именно невежество Крекшина, т. е. его приверженность к устарелым традициям и незатронутость новыми веяниями, заставляют отнести к его работам о Петре I с особым интересом, так как именно устарелые традиции есть то, что в первую очередь выпало из поля зрения новопросвещенной части русского общества пореформенного периода.

Крекшинские материалы позволяют реконструировать (хотя бы весьма приблизительно) взгляд на наиболее критический начальный момент деятельности Петра со стороны среднего, ничем не выдающегося человека пореформенной эпохи, точку зрения тех полуобразованных слоев, которые не вкусили высоких знаний и довольствовались чтением рукописных сборников. Принадлежность крекшинских работ о Петре именно этому культурному слою доказывается, кроме всего прочего, необычайной распространенностью первой части биографии в рукописных сборниках самого разного состава: среди романов, среди исторических сочинений, в специальных хронографах о Петре и пр. До сих пор сохраняется несколько сот таких списков, есть даже украшенные лубочными картинками¹⁶. Сочинения Крекшина о

Петре начали печататься лишь после смерти автора¹⁷ в первом потоке русских коммерческих изданий.

Любой взгляд на деятельность Петра требует самого серьезного внимания, так как с середины XVIII столетия концепции исторической роли Петра I стали краеугольными для русских идеологических построений любого толка. Но обращение к трудам Крекшина может оказаться полезным в особенном смысле. На протяжении двух столетий концепции личности и роли Петра часто резко расходились между собой, но сохраняли при этом некоторый набор константных неварьируемых элементов. Истоки хотя бы части из этих элементов естественно искать в привычных представлениях, предрассудках людей петровской и послепетровской эпохи. Именно сочинения Крекшина были максимально близки той полуобразованной среде, в которой прежде всего должны были зарождаться предрассудки, ходячие мнения, слухи и прочие влиятельные в культурном отношении формации.

* *
*

Сочинения Крекшина о Петре¹⁸ — это компиляции, составные части которых можно определить без особых усилий. Хотя к документам петровского архива он был допущен уже после поднесения «Краткого описания» императрице Елизавете, но и до 42-го года в его распоряжении находилось множество рукописных материалов самого разнообразного характера, на основании которых он писал свой текст. Так, история предсказаний Симеона Полоцкого о рождении Петра и его грядущем величии возникла вокруг стихотворного «прогностика», действительно написанного Симеоном Полоцким¹⁹. Следующее за тем пространное прощальное слово царя Алексея Михайловича со смертного одра — как это обнаружил еще Сахаров, готовя «Краткое описание» к печати, — стихи того же Симеона Полоцкого, даже не разрифмованные²⁰ и т. д. Крекшин располагал несколькими письмами родственников к Петру, статейными списками посольства Емельяна Украинцева в Турцию, некоторыми материалами дела Федора Шакловитого, многими официальными правительственными актами²¹. Эти документы вошли в научный обиход без крекшинского посредничества. Единственно полезными в источниковедческом отношении оказались известия (весьма впрочем неточные) о занятиях Петра с Зотовым²² и некоторые данные из журнала 1709 года²³.

На перечисленные материалы опираются лишь отдельные части работ Крекшина о Петре I. Основные же сведения Крекшин позаимствовал из таких общеупотребительных источников, как «История Петра» Феофана Прокоповича, записки Матвеева и Медведева.

По составу фактов и по текстуальным совпадениям ясно устанавливается зависимость Крекшина и от Прокоповича, и в особенно глубокой степени от Матвеева. Доказать прямую связь между текстами Медведева и Крекшина не удастся. Правда, Крекшин приводит те же официальные грамоты, что и Медведев²⁴. И вообще, записки Медведева в середине XVIII в. разошлись в многочисленных рукописях и должны были быть хорошо известны такому опытному собирателю рукописей, как Крекшин. Но Крекшин мог отказаться от использования записок Медведева — осужденного сторонника Софьи — из особых идейных соображений. Он игнорировал неавторитетные с его точки зрения имена. Так, в сочинениях своих он приписал Головину почти все заслуги Лефорта. Как бы то ни было, в конечном счете Крекшин воспринял данные из 3-х названных работ.

Если учесть основные заимствования, сделанные Крекшиным, и определить тенденцию, направление, в котором он искажал исходные материалы, то удастся выделить самостоятельный, сложившийся независимо от письменных источников, крекшинский сюжет юности Петра I. В «Кратком описании», журнале 1683, и «Разговорах в царстве мертвых» юность Петра представлена Крекшиным прежде всего как ряд опасных для его жизни ситуаций. Заговорщики поджидают Петра на каждом шагу. Гибелью грозят сражения, походы и плавания. Даже простое удаление от дома может повлечь за собой смерть. Удача первого Азовского похода — по Крекшину — в спасении Петра от злобных умыслов Яшки Янсена, жаждущего «светильник... угасить»²⁵.

Значение стрелецких бунтов сводится к желанию Софьи «угасить лампаду»²⁶. Софья — по крекшинской версии — имея конечной целью гибель брата, беспрестанно искала средств задержать его мужание. Подсылала бояр и патриарха с угрозами оставить дела, выражала лицемерное беспокойство, «что он младое свое тело утруждает безмерными учениями и чтением книг»²⁷. Софья попыталась однажды отдалить Петра с матерью от двора Федора Алексеевича, но пятилетний Петр, обливаясь слезами, произнес перед царем искусную речь, в которой сравнил себя с царевичем Дмитрием. Наступил 1682 год. По воле Федора Петр взошел на престол, но Софья разожгла бунт, вином возбудила бешенство стрельцов, запугала их, когда они собрались было разойтись по домам. Если по Матвееву стрельцы в поисках жертв обыскали весь царский дворец, то, по Крекшину, они рыскали везде, «кроме чертогов Софии Алексеевны»²⁸. По журналу 1683 г. Петр (одиннадцатилетний) почти ежедневно издает приказы, долженствующие усмирить стрельцов, а Софья также ежедневно плетет против него хитрые интриги. Наконец, в августе 1689 г. созревает последний заговор, представленный в «Кратком описании» самым драматическим образом: по-

досланные убийцы, таящиеся ночью за холмами Преображенского, пылающий дворец и пр. Все эти события венчаются последним решительным бегством Петра в Троицкую лавру.

Между тем, в первоисточнике Крекшина — у Матвеева — содержатся только слабые намеки на возможность такой версии стрелецких бунтов. Кровный враг Милославских и сторонник Нарышкиных, Матвеев был склонен подчеркивать участие Софьи в гибели царицыных братьев. Но одно это не могло послужить основанием для развертывания всей крекшинской истории и последующего ее широкого распространения. Легенда о единоборстве Петра и Софьи проявила потом редкую устойчивость и особую силу сопротивления критике⁷⁹. Ее не поколебали подробные детальные опровержения, составленные в разные времена Миллером²⁹, Аристовым³⁰, Шмурло³¹. Видимо, та культурная сфера, в которой осуществлялась критика, и та, в которой жила сама легенда, мало соприкасались.

Особыми опасностями чревато путешествие Петра за границу. Один из самых драматических и пространных эпизодов «Краткого описания» — момент отъезда Петра в первое европейское путешествие. Весь народ обливается слезами. Патриарх на коленях умоляет царя не губить себя и ограничиться рассмотрением географических карт. Петр отвечает в том смысле, что и дома можно погибнуть и в посольстве спастись³². Таинственная обстановка отъезда, маскарад Петра объяснены Крекшиным как мера, необходимая для спасения царской жизни.

И действительно, рижский губернатор швед Дальберг «искал случая Царское Величество убить»³³. Добродетельные бренденбургцы предупреждают Петра, что «на море путь нечист»³⁴. Великое посольство на коленях, рыдая, молит Петра вернуться назад, ибо «о особе Его Царского Величества уже известно и отсюда злоумышленники делают примечания»³⁵. Английская королева просит Петра не ездить по морю, так как там ждут его шведские корабли.

Тему опасности от воды Крекшин развивает и в самостоятельном виде, вне связи её с темой заграничных заговоров. В «Кратком описании» и «Разговорах» можно выделить значительную группу текстов с таким содержанием. Историю отношений Петра с водной стихией Крекшин начинает анекдотом о том, как Петр ребенком чуть не погиб, перебираясь через реку и заболел водобоязнью. (Анекдот этот широко распространен, встречается и у Страленберга, и у Голикова). Водные забавы Петра Крекшин излагает по предисловию к Морскому регламенту в том варианте, в каком это собственноручное произведение Петра I было приведено в «Истории» Феофана Прокоповича. Но в отклонение от оригинала, по Крекшину водным забавам предшествует и сопутствует неумолчный плач матери, брата, патриарха и прочих лиц, мольбы и предостережения:

«Иные взяв за руце, иные за рамена, иные и за ноги, падоша пред Великим Государем, моля на долзе, да исполнит их общее моление оставит путь свой к городу Архангельскому»³⁶. «Яко тогда мнение было всех плавающих на море полумертвыми нарицать»³⁷. Патриарх восклицает: «Не презри моления моего, остави намерение старшное и неполезное»³⁸. Во время своего первого путешествия Петр по Крекшину едва не погибает, переплывая в ледоход Западную Двину, чудом спасается, пустившись из Бранденбурга в плавание по бурному морю.

Итак, все основные крекшинские вымыслы — это истории преодоления смертельных опасностей разного рода. В том, каким образом Крекшин выводит своего героя из опасной ситуации, не найти особых закономерностей. И счастливая случайность, посланная Провидением, и борьба, и бегство, и собственная хитрость, и чужая помощь — равноценные, с точки зрения автора, средства разрешения сюжетной коллизии. Центральная сюжетная линия всех рассматриваемых сочинений Крекшина в целом — не героические подвиги Петра в столкновениях со смертью (таких по существу и нет), а именно сама последовательность разнообразных, чаще всего смертельных опасностей. В какой мере соответствовала такая сюжетная форма традиции русского житийно-панегирического жанра?

Подробности рождения и первоначального воспитания Петра выдержаны у Крекшина в строгом соответствии с житийным канонам. Рождение царевича сопровождается подобающими знаменами. С колыбели царевич наделен острым разумом, самостоятельностью и аскетизмом. Он отказывается от детских игр и, не щадя себя, предается полезным наукам. Он — защитник истинной веры и в июне 1682 г. мудрым словом усмиряет раскольников бунт. Но все эти подробности остаются на заднем плане, отстраненные темой преодоления опасностей, нависающих над жизнью царевича. Спасение, бегство от гибели не являются для русского панегирического жития характерной сюжетной коллизией. Древнерусские аскеты, мученики и герои не пытаются избежать гибели любой ценой, наоборот, они встречают ее лицом к лицу. Тема ускользания от гибели до такой степени не отвечает житийно-биографическому канону, что обычные житийные детали на ее фоне теряют свой стилистический ореол. Аскетизм Петра, пренебрежение детскими забавами — средство самообороны. Он во сне не расстаётся с оружием. В трехлетнем возрасте становится полковником своего собственного полка. Потешные набраны им для самозащиты. Он скрывает число своих солдат, записывая их садовниками Преображенского. Даже такой канонический подвиг, как смирение бунтующих раскольников, получает свою роль в истории единоборства с Софьей, он введен Крекшиным в противовес источникам, утверждавшим, что раскольников бунт был усмирен ца-

ревной. Мудрое слово, вложенное Крекшиным в уста Петра, очень похоже на то, которое, по Медведеву, сказала раскольникам царевна Софья³⁹.

Плохо согласуются с крекшинской версией и тексты той ориентации, которой, казалось бы, должен был придерживаться Крекшин с его претензиями на официальность и парадность, — дворцовые записки, оолокремлёвские летописи последней четверти XVII века.

Во времена юности Петра I такие документы не вмещали в себя сведения об узурпации трона, смертельной вражде между царственными родственниками, о покушениях на жизнь царствующих особ. Только в сравнении с официальной сдержанностью этих материалов необычность появления крекшинской версии ощущается со всей остротой. Софья у Крекшина — зажигательница и первая виновница бунта 1682 г., у летописца выступает в едином ходе царской фамилии, «со всеми государскими тетками и сестрами» она молит стрельцов о мире: «Почто сей мятеж учинился? Кто вам помути, яко и дому нашему царскому на разорение приидосте...»⁴⁰ В официальных материалах описания действий Софьи фактически приближаются к версии ее панегириста Медведева (недаром Медведев так свободно и в таком изобилии использует для своего повествования правительственные грамоты). Даже свержение Софьи и установление единовластия Петра, т. е. события бегства в Троицу, представлены летописцем без участия Софьи: «Того же лета 7197 августа в 7-м числе в 6 час ноци царь и великий князь Петр Алексеевич всеа России шествие свое государское сотвори из села Преображенского самым скорым и нужнейшим путем в обитель святая Троицы в Сергиев монастырь с матерю своею государсткою и со всем своим государским домом от изменников и воров от Федьки Шакловитова и ево единомысленников...»⁴¹.

Особенно яркий контрастный фон для крекшинской легенды составляет «Гистория о царе Петре Алексеевиче», написанная Б. И. Куракиным. Куракин — ровесник Петра, его спальник, участник его детских игр, имел свой оригинальный взгляд на события. В противоположность Крекшину, Куракин не сообщает ничего о покушениях на жизнь Петра во времена его детства и ранней юности. Петр по Куракину не участвует в делах управления вплоть до смерти царицы Натальи Кирилловны. До этого времени он склонен к забавам и безразличен к серьезным занятиям. Софья до 1689 г. ничем не нарушает его спокойствия: «И царица Наталья Кирилловна и сын ея ни в какое правление не вступали и жили тем, что давано было от рук царевны Софии Алексеевны»⁴².

Но, вопреки полному несоответствию крекшинской легенды всем перечисленным текстам и типам текстов, её всё-таки при-

ходится признать традиционной, даже банальной. Выше, на примере генеалогий, мы пытались показать, что «вымыслы» Крекшина по природе своей принадлежат прежде всего области слухов, преданий, традиционных предрассудков.

Слухи времен юности Петра поддаются реконструкции. Даже такой официально сдержанный и строгий источник, как Мазуринский Летописец, подтверждает факт существования слухов, не соответствующих его собственной этикетной позиции: «И государыня царевна Софья Алексеевна выходила к стрельцам на крыльцо, а Кирила Полуехтович Нарышкин стоял на нижнем рундуке. И царевна стрельцам говорила много время, а что, не слышать издали»⁴³. То есть, составитель летописи отказывается обсуждать участие Софьи в выдаче стрельцам Нарышкиных. Тем самым он подтверждает существование именно такой версии в общественном мнении. Через полвека этот же взгляд будет зафиксирован Крекшиным.

Слухи, окружавшие события стрелецких волнений, непосредственно отражены в записках иностранцев, посещавших Россию в 1680—1690 гг. Формы преломления событий в народном восприятии интересовали иностранцев не менее, чем сами события.

Секретарь австрийского посольства И. Г. Корб посетил Россию в 1698 г. Ему пришлось стать свидетелем стрелецких казней. Пытаясь объяснить увиденное, он обратился к слухам, которые аккуратно записал. Он слышал как говорили, что Софья «в продолжение четырнадцати лет покушалась на жизнь своего брата»⁴⁴. Жизнь Петра по слухам вообще постоянно находится под угрозой. «Царь Петр Алексеевич неверностью своих подданных был ввергаем очень часто в опасности, но чудесным счастьем избегнул всех козней, измен и коварных замыслов»⁴⁵. «Петр, гордый сознанием своей силы, презирает смерть и всякие опасности... Не раз царь Петр являлся один среди Государственных преступников и заговорщиков на его жизнь; злодеи дрожали при виде Его Величества...»⁴⁶

Г.-А. Шлейссингер, посетивший Россию сразу после первого стрелецкого бунта, описывает покушение на жизнь 12-летнего царя Петра: «За мое пребывание в России там два раза спасали жизнь младшему царю: когда он по своему обыкновению остался развлекаться в деревне, то ему однажды подожгли конюшню; другой раз подложили огонь под его покой и спальню, так что его личный слуга едва успел увести его оттуда в одной рубахе, а молодой господин был крайне взволнован...»⁴⁷ Показательно, что детали этих покушений совпадают с описанием у Крекшина событий, предшествовавших бегству Петра в Троицу в 1689 г.

Крекшин не мог знать всех этих источников. Перечисленные записки иностранцев сделались доступными русскому читателю

лишь с середины XIX века, но совпадения между крекшинскими работами и мемуарами иностранцев легко объяснимы. И те, и другие восходят к общему источнику — к слухам. Слухи, неизвестно откуда донесшиеся и превращающиеся уже в предания, анекдоты, передаваемые из уст в уста, обладали для Крекшина авторитетностью высшей, чем авторитетность письменного документа. Критика источника, попытка реконструкции голого исторического факта вне особенности его восприятия была не только недоступна, но и глубоко враждебна таким историкам, как Крекшин.

«Вымыслы» Крекшина находятся в родстве с фольклором Петровской эпохи. И родство это столь близко, что без учета фольклорных преданий смысл многих крекшинских версий остаётся не вполне ясен.

Так, всенародный плач, страх за жизнь Петра перед отъездом в Европу Великого посольства — введенный Крекшиним мотив мотивировок — может быть опознан как фольклорный мотив опасности от пересечения культурной границы вообще. (Вскоре после отъезда Петра в России действительно появились слухи, что царь за морем скончался). Немотивированное у Крекшина обилие врагов, подстерегающих Петра на каждом шагу пути по Европе, получает объяснение в фольклоре того времени. В песне и преданиях переодетый царь тайно отъезжает не за границу вообще, а именно во вражескую, шведскую или турецкую⁴⁸ землю, где его ждет смертельная опасность. Мотив бегства Петра по морю от шведских кораблей встречается в песнях о бегстве его из Стекольного. Эти «шведские» сюжеты близки к сюжетам цикла о взятии Азова, в которых царь, наряженный купцом, является во вражеский город. В русском историческом фольклоре со времен Ивана Грозного мотив переодевания обязательно сопровождает собой тему спасения царской жизни от опасности. Переодевание оказывалось таким образом необходимым условием встречи царя с опасностью. Демократический маскарад Петра вообще вряд ли мог на русской почве того времени быть воспринят совершенно вне связи с этой особенностью фольклорного сознания.

Еще один пример взаимодействия крекшинских версий и фольклорных преданий: В «Разговорах в царстве мертвых» и «Кратком описании» Крекшин подробно излагает историю пребывания Петра в Англии. Английская королева Анна, распознав в заморском купце великого государя, наносит ему визит, говорит любезности, заказывает художнику тайно списать с него портрет, делает роскошные подарки и отпускает домой безопасной дорогой. Крекшин никак не объясняет поведение английской королевы. Эпизод этот представляется незаконченным. Все детали этой части повествования — куртуазные жесты, маски, шпалеры, за которыми прячутся, «покалы»

с вином, — всё это типичные атрибуты переводных галантных романов, популярных во времена Крекшина. История пребывания Петра в Англии опознается как типичный для романа эпизод — преследования, которые претерпевает целомудренный кавалер от сладострастной девы. Кавалер обычно знатен и путешествует инкогнито. На многократном повторении таких эпизодов строится, например, знаменитый роман об английском милорде Георге. Однако сохранилось два типа фольклорных сюжетов, имеющих к истории Крекшина более близкое отношение: 1. Собственно предание об английской королевно Анне, эротический анекдот, по сюжетной структуре совпадающий с новеллой Боккаччо. В конце его Петр хитростью спасается от английской королевы⁴⁹. 2. Распространенный в преданиях и исторических песнях сюжет о столкновении Петра с королевною в Стекольном. Эпизод Крекшина совпадает в существенных деталях со сценой узнавания Петра королевною в песне «Как никто-то про то не знает не ведает»⁵⁰. С помощью портрета королевно узнает Петра, скрытого под обликом заморского купчины и приказывает поймать его. Предупрежденный крестьянином, Петр спасается на корабле.

Постоянный в песнях и преданиях мотив столкновения Петра с могучей и опасной девой — фольклорный аналог крекшинской легенды о Софье и Петре. С. М. Соловьев недаром описывал их обоих с помощью фольклорной былинной терминологии, как богатыря и богатыршу, деву-поляницу⁵¹. В былинном эпосе и в фольклоре вообще опасность от воинственной девы, наряду с опасностью от воды, наиболее серьезна и может привести к гибели.

Тема опасности от воды в фольклорном предании о Петре разработана еще шире, чем у Крекшина. Так, известное предание о чудесном спасении в бурю под Архангельском, слышанное уже Корбом в 1698 г., употребленное Ломоносовым в поэме «Петр Великий», Крекшин не использовал совсем. Не доведя своей работы до конца, он, разумеется, не использовал и версию о смерти Петра от болезни, полученной при наводнении. Осталось без употребления и предание о том, как Петр избил кнутом море — озеро, чтоб оно не смело впредь топить его⁵². Фольклорный материал показывает, что сознание людей Петровской и позднейших эпох было способно воспринимать жизнь Петра в целом как единоборство с водой. В нескольких записях, в том числе у Киреевского, сохранилась песня о рождении Петра и гибели его в реке Смородине⁵³. Соколова сочла эту песню случайной контаминацией, вызванной ошибкой в записи⁵⁴. Но собиратели засвидетельствовали, что сочетание это не механическое, что «в сознании певцов какая-то связь существовала»⁵⁵.

Итак, сюжетная схема «смертельная опасность — спасение»

организовывала восприятие жизни Петра в широких слоях общественного мнения, как оно отразилось в слухах, в записанных собирателями анекдотах (таких анекдотов множество у Штелина)⁵⁶, в фольклорных преданиях. Ведь даже существовавшая во враждебных Петру кругах идея подмененного царя подразумевала момент гибели истинного Петра.

Судя по материалам некоторых следственных дел, истории спасения императора от гибели возбуждали болезненное любопытство. Так, в протокольной записи 1704 года сохранился рассказ жены дворцового повара Якова Чуркина, как Пётр пошёл по немецким землям, «а в Немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругалась, ставила его на горячую сковороду», но потом смилостивилась и отпустила его. «И он пошел к нашим боярам, а бояре перекрестились, сделали бочку и в ней набили гвоздя, и в тою бочку хотели его положить». Но стрелец подменил царя собою, и бояре сбросили его в море⁵⁷.

Такие истории протоколировались ещё спустя многие годы после смерти императора⁵⁸.

* *
*

Основная сюжетная схема, реализуемая Крекшиным, — смертельная опасность — чудесное спасение — оказывается вообще чрезвычайно распространена в предании XVII—XVIII вв. Исследовать исторические корни таких сюжетов не входит в нашу компетенцию. Для нас важно здесь, что рассматриваемые сюжеты и для времен первого стрелецкого бунта уже являются вполне традиционной привычной формой истолкования событий действительности. Свидетельство тому — постоянный ореол вполне определенных исторических ассоциаций вокруг героя (царя или царевича), преодолевающего смертельную опасность. В преданиях о спасении царской жизни наиболее употребительной для дореформенного периода являлась ассоциация с судьбой царевича Дмитрия Углического, представляемой не в том виде, в каком жизнь и смерть царевича описывалась в канонических мартириях, а в соответствии с устным преданием, подразумевающим возможность чудесного спасения от гибели и будущего торжества. Ранние материалы петровской биографии показывают, что события юности Петра воспринимались современниками на фоне предания о Дмитрии. Уже на первых страницах «Краткого описания» Крекшин вкладывает в уста малолетнего Петра сравнение собственной участи с судьбой Дмитрия.

Те же ассоциации, но в обычной для него форме намек на умолчание, предлагает Мазуринский летописец. Ничего не говоря о придворном конфликте и борьбе за власть, он считает,

однако, нужным подчеркнуть, что начало бунта 1682 г. пришлось на день «памяти убиения святого и благоверного царевича Дмитрия московского»⁵⁹.

На предании о царевиче Дмитрии в конце XVII в. мог основываться политический жест, декларация. Имя Дмитрия сыграло значительную роль в образовании правительственной версии событий лета 1689 г. Эта версия выразилась тогда прежде всего в официальном, рассчитанном на публицистический эффект поведении царствующих особ во время публичных богослужений. С июня 1689 г., согласно «Дворцовым разрядам», Софья целые дни проводила в торжественных богослужениях. Из других источников известно, что 8 июля раздраженный Петр безуспешно пробовал изгнать царевну из крестного хода. В «Дворцовых разрядах» отражен момент отделения Петра от общей процессии возле Архангельского собора. Со своими крестами и иконами он отправился в собор архистратига Миканла, где хранились мощи царевича Дмитрия⁶⁰. Демонстративно поклонившись мощам убиенного царевича, Петр выехал из Москвы. Момент поклонения гробу Дмитрия лишает смысла предложенный позже в актах по делу Шакловитого вариант событий лета 1689 г., по которому следовало, что преступные замыслы Софьи проявились после 8 июля. Поведение Петра показывает, что он до 8 июля успел принять на себя роль законного наследника, спасающегося от покушений сестры.

По схеме предания о царевиче Дмитрии строились слухи о судьбе маленького сына Петра царевича Алексея. В период пребывания Петра за границей распространились туманные сведения, что «бояре хотели было царевича удушить, но его подменили и платье его на другого надели; царица узнала, что не царевич; а царевича сыюкали в другой комнате, и бояре царицу по щекам били; а государь неведомо жив, неведомо мертв...»⁶¹

Особую устойчивость предания о Дмитрии нельзя объяснить лишь сильным впечатлением, произведенным когда-то в народе известием об его гибели. Сами события в Угличе были предварены многочисленными слухами об опасности, нависшей над его жизнью. За несколько лет до смерти Дмитрия английский посол Флетчер слышал, что «жизнь его находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя»⁶². Последующее предание о Дмитрии Углическом явилось прежде всего прямым продолжением этих слухов. А значит, события в Угличе не являются исходными для возникновения рассматриваемой здесь культурной традиции. Сюжетной схемой — смертельная угроза-бегство-спасение — широко пользовался для своих публицистических выступлений уже Иван Грозный. Впервые в царствование Грозного такой сюжет возник в связи с именем другого

царевича Дмитрия, сына Анастасии Романовой. В 1553 г., тяжело заболев, Иван IV призвал родственников своей жены и сказал им: «... и будет станетца надо мною воля Божия, меня не станет, и вы пожалуйте, помяните, на чем есте мне и сыну моему крест целовали, не дайте боярам сына моего извести некоторыми обычаи, побегите с ним в чужую землю, где Бог наставит»⁶³.

Считал ли Иван на самом деле гибель Дмитрия неминуемой — не столь важно для истории употребления рассматриваемой сюжетной формы. Главное, в своих публицистических выступлениях — в речах, в письмах к Курбскому — Иван постоянно выдвигал эту ситуацию⁶⁴, снова и снова вспоминал ее. Характерно, что в крекшинском Журнале 1683 г. маленький Петр, готовясь претерпеть грядущие опасности, беседует с патриархом о письмах Иоанна к Курбскому и читает их⁶⁵. Важно вспомнить здесь также, что петровский фольклор — особенно предания о покушениях на жизнь царя — во множестве случаев строится лишь с помощью добавления нескольких незначительных деталей к сюжетам, утвердившимся во времена Ивана Грозного.

Трудно выделить момент первоначального становления на русской почве формы сюжета об угрозе-бегстве-спасении царской жизни. Эта форма развивалась многочисленными слухами о заговорах на Грозного, его собственными декларациями, его маскарадами, его нескрываемой и постоянной готовностью к бегству. Любопытно следить, как в мемуарах английского посла по торговым делам Дж. Горсея исходная мысль о мнительности и патологической жестокости Ивана по ходу изложения постепенно сменяется верой в реальное существование ежедневных заговоров на жизнь царя. «Царь жил в большой тревоге и страшился измен и заговоров против себя; каждый день он открывал их и проводил много времени в розысках, пытках и казнях своих родовитых военачальников и сановников, которых считал против себя злоумышленниками»⁶⁶.

«Иоанн... знал, что каждый новый день угрожает более прежнего дня его безопасности»⁶⁷.

«Природные склонности этого народа были так злы и порочны, что если бы старый царь не держал правления в жестких и суровых руках, то он не жил бы так долго; против него постоянно составлялись коварные и предательские заговоры, но он всегда открывал их»⁶⁸.

Во второй половине XVI в. в России зарождается движение самозванчества, угасшее лишь к концу XVIII в. В основе каждой самозванческой легенды — как они описаны в исследовании К. В. Чистова по русскому самозванчеству⁶⁹ — лежит та же сюжетная схема чудесного спасения царственной жизни от смертельной опасности. Самозванческая легенда окрепла в событиях

зовался Ломоносов. Можно предположить, что так как записки о стрелецких бунтах составлялись по официальному заказу, то Ломоносов получил в свое распоряжение официальный и наиболее полный вариант крекшинской биографии Петра — рукопись 42-го года. Г. Н. Монсеева в своих исследованиях дважды указывала в качестве основного источника для Ломоносова не работы Крекшина, а записки Матвеева и «Повесть о Московском восстании 1682 г.», опубликованную В. И. Бугановым в 1967 г.⁷⁵ Она пишет: «Не упоминаем в числе источников известий о стрелецком восстании 1682 г. сочинения о Петре I П. Н. Крекшина, так как в описании стрелецкого восстания оно полностью повторяет записки А. А. Матвеева. См.: Е. В. Колосова. К проблеме традиций дровнерусской исторической повести в литературе XVIII в.»⁷⁶ Колосова действительно видит в работе Крекшина лишь бледную копию записок Матвеева. Но выводы эти не могут быть использованы, так как исследовательница работала, по ее собственному указанию, на материале рукописи РОГБЛ, ф. 178, № 1341, которая является сокращенным за счет всех наиболее ярких крекшинских известий вариантом «Сказания о зачатии и рождении», сконтаминированным с записками Матвеева. Тот факт, что Е. В. Колосова сочла этот текст наиболее полным и исправным, свидетельствует о ее пренебрежении печатным изданием Сахарова и общей историографией вопроса.

Таким образом мы не обнаруживаем серьезных возражений против выводов о влиянии на Ломоносова сочинений Крекшина. Благодаря Ломоносову крекшинские известия обрели будущее. Значение поэмы «Петр Великий» общеизвестно. «Описания стрелецких бунтов» опубликованы впервые лишь недавно, но в свое время записки эти были переданы Вольтеру и почти без изменений вошли в текст знаменитой «Истории России при Петре Великом». Таков второй путь экспансии крекшинских известий.

Третий путь открыл И. И. Голиков. Голиков имел в своем распоряжении целую группу крекшинских рукописей. Часть из них он получил из рук автора, часть досталась ему иначе. В объяснительных указаниях к крекшинским известиям в первом томе «Деяний» Голикова⁷⁷ фигурируют анонимная «Рукопись о зачатии и рождении», некий, тоже анонимный, «Российский Летописец», некие манускрипты Крекшина, некие «записки, собранные комиссаром Крекшиным о сем великом Монархе»⁷⁸. Имея в своих руках несколько текстов, по-разному излагающих одно и то же, Голиков совершенно утвердился в своем доверии к Крекшину. Текст «Деяний» Голикова до описания бунта 89 г. включительно отличается от последующего сухого изложения обилием развернутых эпизодов, речей, психологизированных сцен. Все эти попытки беллетризации (за

исключением случаев использования поэмы Ломоносова) легко опознаются как крекшинские сказания.

Как бы мало ни была изучена роль «Деяний» Голикова в образовании патриотических легенд XIX в., одно ясно вполне — эта роль была огромна.

Таким образом, крекшинские известия уже в XVIII в. были усвоены тремя литературными источниками. Если учесть чрезвычайную авторитетность и влияние этих источников, то факт воздействия крекшинских известий на умы нескольких поколений начинает представляться неоспоримым.

Примечания

1. П. П. Пекарский. История императорской Академии наук. Т. I, СПб., 1873, стр. 343, примечания.

2. Н. Устрялов. История царствования Петра Великого. Т. I, СПб., 1858, стр. XLIII.

3. С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века. Ч. III. Л., 1971, стр. 136.

4. Кн. М. М. Щербатов. О повреждении нравов в России. СПб., 1906, стр. 50.

5. Там же.

6. Дело началось в 1746 г. после представления Родословия в Сенат и передачи его для разбирательства в Академию наук. Арбитрами в возникшей между Миллером и Крекшиным полемике были назначены профессора Штрубе-де-Пиермонт, Ломоносов и Тредьяковский. Спор этот хорошо документирован и отчасти исследован. См.:

Дело о представлении комиссаром Крекшиным сочиненного им Родословия русских великих князей, царей и императоров и о доносе того же Крекшина на академика Миллера в имени выписок из иностранных сочинений с неблагоприятными для России отзывами. 227 лл. ЦГАДА, ф. 17 (XVII разряд Гос. Архива), ед. хр. Па. Об этом же см.: П. П. Пекарский. История императорской Академии наук. Т. 2, СПб., 1873, стр. 369—370 и др.

М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. 6, М.—Л., 1952, статья «Рассмотрение спорных пунктов между господином профессором Миллером и господином комиссаром Крекшиным» и примечания к ней на стр. 541—545.

Г. Н. Монсева. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.

7. Крекшину приписывается «Родословие Высочайшей Фамилии ея императорского величества государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийской», изданное архимандритом Леонидом (СПб., 1883). Сравнение с документами из Гос. Архива и с общей историографической манерой Крекшина показывает, что эта родословная Романовых (от Захарьиных) не могла принадлежать Крекшину.

8. РОГПБ, ф. IV, № 52, л. 4.

9. Там же, л. 24.

10. С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века. Ч. I. Л., 1961, стр. 253.

11. См.: Иван Елагин. Опыт повествования о России. Кн. I. М., 1803, стр. 101.

12. С. К. Шамбинаго. Иоакимовская летопись. — «Исторические записки», № 21, АН СССР, 1947.

13. О происхождении и историко-культурном значении таких генеалогий см.: В. С. Иконников. Опыт русской историографии. Т. 2, кн. I, Киев, 1908,

стр. 331 и др. А. Н. Робинсон. Историография славянского Возрождения и Паисий Хилендарский. М., 1963.

14. А. С. Пушкин. Воспоминания. Карамзин. — Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. 8, М., 1964, стр. 68.

15. Тезис о существовании у рукописных сборников XVIII в. специальной аудитории был обоснован в кн.: М. Н. Сперанский. Рукописные сборники XVIII века. М., 1963.

16. Рукопись второй четверти XVIII в., хранится в ГИМ. Иллюстрации приведены в кн.: М. М. Богословский. Петр I. Материалы для биографии. М., 1940, стр. 45, 75, 87 и пр.

17. Наиболее исчерпывающая библиография печатных изданий Крещина о Петре I см.: Е. Ф. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. I. XVIII в. СПб., 1912, прим., стр. 53—64. После 1912 г. сочинения Крещина не переиздавались.

18. В работе цитируются следующие рукописи и издания сочинений Крещина о Петре I:

1) Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого самодержца Всероссийского, собранное через недостойный труд последнего раба Петра Крещина дворянина Великого Новгорода, том первый содержит в себе частей четыре. 1742 г. — ЦГАДА, ф. 17, № 167. Библиография доведена до 1706 г. Продолжение или не было написано, или не сохранилось. (В тексте и в сносках «Краткое описание»).

2) Историческое разыскание. Записки Новгородского дворянина Петра Никифоровича Крещина. (Сахаров). Записки русских людей. События времен Петра Великого. СПб., 1841. — Это издание двух частей «Краткого описания» с сокращениями. (Далее в сносках — Сахаров).

3) Журнал великославных дел великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича самодержцев всероссийских. Том 2, содержащий в себе лето от первого дня Адама 7191, по рождестве Иисуса Хрестове 1683. Собранный новгородским дворянином Петром Никифоровым сыном Крещиным. 1758 — РОГБЛ, ф. 218, № 85 (Далее — Журнал 1683 г.).

4) (П. Н. Крещин). Год из царствования Петра Великого 1709. — «Библиотека для чтения», 1849, октябрь, СПб. (Далее — Журнал 1709 г.).

5) (П. Н. Крещин). Краткое описание славных и достопамятных дел Императора Петра Великого, Его знаменитых побед и путешествий в разные Европейские Государства со многими важными и любопытства достойными происшествиями, Представленное разговорами в царстве мертвых Генерал-Фельдмаршала и кавалера Российских и Малтийских орденов Графа Борнса Петровича Шереметьева, боярина Федора Алексеевича Головина и самого сего Великого Императора с Российским Царем Иоанном Васильевичем, с шведским королем Карлом XII, Израильским Царем Соломоном и Греческим Царем Александром. Изд. В. Вороблевского, СПб., 1788. (Далее — «Разговоры в царстве мертвых»). Вороблевский осуществил еще два издания: М., 1789 и М., 1794.

6) Наиболее часто упоминаемое в исследовательской литературе «Сказание о зачатии и о рождении Петра Великого» — это первая часть «Краткого описания» с большими сокращениями. Сказание было выделено в отдельный текст, вероятно, самим Крещиным, оно разошлось сотнями списков под разными названиями в различных вариантах, с указанием имени автора и без него. В конце XVIII в. рукопись была трижды издана Вороблевским и Туманским без указания автора. Вороблевским — под заглавием: Сказание о рождении, воспитании и наречении на Всероссийский Царский престол Государя Петра Первого. I изд.: М., 1787; II изд.: М., 1795.

Вариант этого же текста по рукописи опубликован в статье: кн. Вл. К-в. Материалы для Истории Петра Великого. — «Отечественные записки», 1848, № 8. Туманским — в кн.: Туманский Ф. О. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях

государя им. Петра Великого. Т. I (Далее в тексте — «Сказание о зачатии и рождении»). Обзор остальных рукописей Крекшина о Петре I см. в кн.: Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства, вып. I, XVIII в., СПб., 1912, стр. примечаний 53—64.

19. Прогностик приведен в «Кратком описании», л. 63. Е. В. Колосова предположила, что стихи Полоцкого на рождение Петра могли быть почерпнуты Крекшиным из «Рифмологюна». См.: Е. В. Колосова. К проблеме традиции древнерусской исторической повести в литературе XVIII в. («Сказание» П. Н. Крекшина о Петре I как последний этап развития исторической повести XVII в.). — В сб.: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967. Другие предсказания — их у Крекшина не менее 30 листов, — по мнению Сахарова, были заимствованы «из разных духовных книг» (Сахаров, предисловие, без пагинации).

20. Сахаров. Примечания, стр. 121.

21. Крекшин был вообще усердным собирателем древних манускриптов. Его собрание легло в основу коллекции А. И. Мусина-Пушкина. О составе бумаг Крекшина и об истории их покупки несколько разноречивые сведения — см.: К. Калайдович. Биографические сведения жизни гр. А. И. Мусина-Пушкина. — Записки и труды общества истории и древностей российских, ч. 2, М., 1824. Д. Н. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли. Ч. 2, СПб., 1847, статья о Мусине-Пушкине.

22. Об источниковедческом значении известий Крекшина о занятиях Петра с Зотовым — см.: В. О. Иконников. Опыт русской историографии. Т. 2, кн. 2, Киев, 1908, стр. 1216.

23. С. Л. Пештич. Русская историография XVIII в. Ч. 3, Л., 1971, о Крекшине см. стр. 129—138.

24. Медведев приводит 25 официальных документов (см.: ЧОИДР, 1894, кн. 4), многие из которых не сохранились и впоследствии публиковались по его Запискам.

25. Сахаров, стр. 114.

26. Журнал 1683 г., л. 162 об.

27. Там же, л. 186 об.

28. Туманский. Собрание разных записок..., т. I, стр. 269.

29. Г. Миллер. Воспитание государя императора Петра Великого. — Опыт трудов Вольного Российского собрания при императорском Московском университете, ч. V, М., 1780; он же. Известие о начале Преображенского и Семеновского полков. — Опыт трудов Вольного Российского собрания..., ч. IV, М., 1778.

30. Н. Аристов. Московские смуты в правление царевны Софии Алексеевны. Варшава, 1871.

31. Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства, стр. прим. 53—64.

32. Журнал 1683 г., л. 221—229.

33. «Разговоры в царстве мертвых», изд. I, СПб., 1788, стр. 20.

34. Там же, стр. 21.

35. Там же.

36. Сахаров, стр. 100.

37. Там же, стр. 99.

38. Там же, стр. 95.

39. Там же, стр. 43.

40. Летопись о многих мятежах. ПСРЛ. Т. 31. Летописцы последней четверти XVII в. М., 1968, стр. 195.

41. Там же, стр. 204—205.

42. Б. И. Куракин. Гистория о царе Петре Алексеевиче. — В кн.: Архив кн. Ф. А. Куракина, кн. I, СПб., 1890, стр. 53.

43. ПСРЛ. Т. 31, стр. 175.

44. И. Г. Корб. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гваринента... М., 1867, стр. 220.

45. Там же, стр. 237.

46. Там же, стр. 237.
47. Г.-А. Шлейссингер. Полное описание России. 1684—1686. Публикация Л. П. Лаптевой. — «Вопросы истории», М., 1970, № 1, стр. 111.
48. Песни, собранные П. В. Киреевским, изданы Обществом любителей российской словесности, вып. 8, Русь Петровская. М., 1870, (далее — Киреевский), стр. 122: «Как куды же наш православный царь собирается? Собирается православный царь во ины земли, Во ины земли во Шведские, Из за Шведских-то в Турецкие» и т. п.
49. Предание описано в кн.: В. К. Соколова. Русские исторические предания. М., 1970, стр. 85.
50. Киреевский, стр. 164—165.
51. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. 7, М., 1962, стр. 442—444.
52. Описано в кн.: В. К. Соколова. Русские исторические предания, стр. 73.
53. Киреевский, стр. 1—8.
54. В. К. Соколова. Русские исторические песни XVI—XVIII вв. М., 1960, стр. 248.
55. Древние российские стихотворения собранные Киреевым Даниловым. М., 1977, комментарий Б. Н. Путилова, стр. 448.
56. Подлинные анекдоты Петра Великого слышанные из уст знатных особ в Москве и Санктпетербурге, изданные в свет Яковом фон Штелином, М., 1786.
57. Цит. по: Дм. Березкин. Император Петр Великий в народном предании. СПб., б. г., стр. 29—30.
58. См.: П. К. Сямони. Сказки о Петре Великом в записях 1745—1754 гг. I—IV, СПб., 1903.
59. ПСРЛ. Т. 31, стр. 192.
60. Дворцовые разряды. Т. IV, СПб., 1855, стр. 457—458.
61. Розыскное дело цит. по: С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 7, М., 1962, стр. 561.
62. Джилс Флетчер. О государстве Русском. СПб., 1905, стр. 20.
63. Александро-Невская летопись. ПСРЛ. Т. 29, М., 1965, стр. 213.
64. «... Младенца же нашего, еже от Бога даннаго нам, хотеша подобно Ироду погубити, воцарив князя Володимира». — Послание Иоанна кн. Курбскому. Кн. А. М. Курбский и царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Избранные сочинения. СПб., 1902, стр. 163.
65. Журнал 1683 г., л. 43.
66. (Д. Горсей). Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея. СПб., 1909, стр. 33.
67. Там же, стр. 34.
68. Там же, стр. 60—61.
69. К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967.
70. Цит. по: С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 5, М., 1961, стр. 9.
71. Феофан Прокопович. Сочинения. М.—Л., 1961, стр. 56.
72. Там же, стр. 63.
73. Там же, стр. 67.
74. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. 6, М.—Л., 1952, Примечание к статье «Описание стрелецких бунтов», составитель Свирская; т. 8, М.—Л., 1959, примечания к поэме «Петр Великий», составители Т. А. Красоткина, Г. П. Блок.
75. Г. Н. Моисеева. Соловецкий сборник в исторических и литературных сочинениях М. В. Ломоносова. — В сб.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона», сб. статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. М.—Л., 1959; она же. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.
76. Г. Н. Моисеева. Ломоносов и древнерусская литература, стр. 107, примечания.

77. И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. Т. I, изд. 2-е, М., 1837.

78. Издатель одного из вариантов «Рукописи о зачатии и рождении» подробно сверил текст ее с т. I-м «Деяний» Голикова и установил общность фактической основы всех перечисленных текстов. См.: Кн. Вл. К-в. Материалы для Истории Петра Великого. — «Отечественные записки», 1848, № 8.

79. Полный обзор источников по стрелецким восстаниям см. в кн.: В. И. Буганов. Московские восстания конца XVII века. М., 1969.

В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ И А. Н. РАДИЩЕВ

(о путях литературной преемственности)

И. В. Душечкина

Постановка вопроса о преемственных связях литературы последней трети XVIII в. с творчеством В. К. Тредиаковского закономерна и необходима. Один из трех крупнейших поэтов и теоретиков литературы предшествующей эпохи, в творчестве которого ставились и разрешались актуальнейшие для всей русской литературы XVIII в. проблемы, не мог тем или иным образом не оказать влияния на путь, избранный непосредственно наследовавшей ему литературой. Вместе с тем, факты как будто противоречат этому: для литературного сознания последней трети XVIII в. характерно крайне пренебрежительное отношение к Тредиаковскому и его творчеству. Отдельные голоса, раздававшиеся в его защиту (Новиков, Радищев), мало меняют дело: они лишь подтверждают, что литература в целом решительно отказывалась от наследия трудолюбивого поэта, осмеивала и его самого, и его творческие искания даже в тех случаях, когда они были созвучны собственным поискам эпохи. Кажется, если литература русского предромантизма не забыла самого имени Тредиаковского, то только для того, чтобы в его лице осмеять ненавистный ей облик поэта-педанта, на смену которому пришла теперь фигура поэта-творца, созидającego безо всяких правил, по наитию, божественному вдохновению. Прообраз такого поэта эпоха находила в Ломоносове, единодушно объявленном «отцом русской литературы», автором всех ее заслуг и достижений.

Вопрос о влиянии творчества Тредиаковского на литературу последней трети XVIII в. необходимо рассматривать в связи с общими закономерностями восприятия этой эпохой литературы середины века. Демонстративный отказ литературного сознания того времени от наследия Тредиаковского, осмеивание его как поэта и человека — часть более общего явления: неадекватного представления о литературном процессе предшествующей эпохи в целом, замены исторической картины литера-

турного прошлого мифом о ней¹. Сложившийся к 1770-м гг. и прочно усвоенный эпохой несоответствующий исторической реальности пародийный, комический образ Тредиаковского занял в мифе о начале новой русской литературы место поэта-шута, противопоставленного фигуре Ломоносова-демиурга. Основными признаками мифологического образа Тредиаковского были педантизм, исполненный «славенщизны» дурной слог, дактило-хореи и т. п. Прочно войдя в литературный обиход, этот пародийный образ влиял на осознание предшествующей литературной традиции, вызывая искажение представлений о преемственности. Творчество Тредиаковского оказывалось вне линии развития русской литературы середины XVIII в., воспринималось как нелепая ошибка, смешное заблуждение честного, но бездарного поэта. Заслуги Тредиаковского как в области теории литературы (реформа стихосложения, размышления о роли формальных элементов поэзии, ее социальных функциях и пр.), так и в области литературной практики (разработка русского гекzamетра, расширение метрического репертуара русской поэзии, введение белого стиха, работа над языком литературы и пр.) или полностью игнорировались, или переадресовывались его антагонисту — Ломоносову.

Предромантическая эпоха наполнила мифологический образ Тредиаковского новым содержанием. Он стал олицетворением представлений об анти-поэте, его творчество — примером анти-поэзии. Все качества, которыми мог гордиться поэт эпохи классицизма (ученость, трудолюбие, начитанность, образованность²), оказались бесполезными и даже противопоказанными поэту-предромантику. «Учение образует, но не производит Автора»³ — вот точка зрения новой эпохи. Трудолюбивый и ученый Тредиаковский сконцентрировал в себе все черты, которые для предромантиков несовместимы с истинной поэзией.

Пародийный образ Тредиаковского был очень устойчив. Он

¹ См. об этом в нашей статье «Своеобразие литературной борьбы середины XVIII в. (Критика — пародия — миф)» (в печати). О «пародийном», «фольклорном» Тредиаковском в восприятии литературы рубежа XVIII—XIX вв. см.: Ю. Н. Тынянов. О пародии. — В его кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 307—308; Ю. Н. Тынянов. Предисловие к кн.: Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв. М.—Л., 1931, с. 7—8.

² Наделяя Тредиаковского в процессе полемики пародийным образом, его литературные противники — писатели-классицисты — отказывали поэту в тех качествах, которые, с точки зрения классицизма, необходимы истинному писателю — учености, образованности, знании правил подлинной поэзии. Педантизм Тредиаковского, с точки зрения Ломоносова и Сумарокова, — педантизм невежды. Тредиаковский неталантлив, потому что недостаточно образован. Новая эпоха не возражает против мнения об образованности Тредиаковского. Для нее педантизм равен учености и противопоказан подлинной талантливости.

³ Н. М. Карамзин. Пантеон Российских авторов. — В кн.: Сочинения Карамзина. Т. I, СПб., 1848, с. 583.

успешно сопротивлялся попыткам разрушить его и сохранил свою цельность и живое звучание вплоть до середины XIX в.⁴ Научная критика легендарных представлений о Тредиаковском, начавшаяся во второй половине XIX в., привела к их пересмотру и попыткам объективной оценки творчества поэта и его влияния на литературу более позднего времени. Но эта задача до сих пор не выполнена окончательно. Решая вопрос о включении литературной традиции, идущей от Тредиаковского, в литературный процесс последней трети XVIII в., нужно учитывать, что литература того времени имела дело с мифологическим образом Тредиаковского, подвергшимся в литературе предромантизма определенному переосмыслению. Анализ прямых высказываний о нем даст исследователю искаженную картину литературной преемственности. Для ее восстановления необходима детальная реконструкция фактов литературного сознания, поскольку они имеют отношение к Тредиаковскому.

* *
*

А. Н. Радищев первым поставил вопрос о необходимости пересмотра отношения к литературному наследию Тредиаковского. Он привлек внимание к заслугам поэта в области стихосложения — прежде всего, в разработке неканонических размеров и белого стиха.

Однако и радищевское отношение к Тредиаковскому не было свободно от влияния общепринятой трактовки его творчества. Взгляд Радищева на творчество и личность Тредиаковского был вполне созвучен мнениям предромантической эпохи — новым представлениям о сущности поэтического гения, о вдохновении, о вкусе.⁵ Фигура Тредиаковского-педанта была не менее чужда ему, чем писателям карамзинского направления. Тредиаковский для Радищева — «стихотворец, но не поэт»⁵; «Тилемахида» — «творение человека ученого в Стихотворстве, но не имевшего о вкусе нисколько понятия» (II, 221). Сквозь предромантическое представление о Тредиаковском-педанте отчетливо проглядыва-

⁴ Показательны в этом смысле комментарии к «Избранным сочинениям» Тредиаковского, изданным П. Перевлесским (М., 1849). Построив свой комментарий на основе общепринятых суждений и анекдотов о поэте, издатель пишет в предисловии: «С представлением о нем <Тредиаковском — И. Д.> соединяется всегда представление образцовой бездарности и беспримерной пошлости; имя его обратилось в общее посмешище; из него сделали бранное слово. В наше время назвать кого-нибудь Тредиаковским значит оскорбить глубоко, и на целую жизнь нажить себе врага, самого злейшего и нетерпимого» (с. XL).

⁵ А. Н. Радищев. Памятник дактилохоренческому витязю. — В кн.: А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1938—1952. Т. II, с. 217. В дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках в тексте статьи; римская цифра указывает том, арабская — страницу.

вала и мифологическая основа этого образа. Радищев продолжал воспринимать творчество Тредиаковского в русле общего насмешливого отношения к нему как к поэту-шуту. Даже пытаясь противостоять этому мнению, Радищев все же не мог освободиться от ощущения комизма, связанного с самим именем Тредиаковского. Неслучайно он пишет апологию поэта «Памятник дактилохоренческому витязю» в форме пародии.

Отношение Радищева к Тредиаковскому и его литературному наследию претерпело значительную эволюцию. На всех ее этапах обнаруживается двойственность радищевского отношения к Тредиаковскому: стремление защитить его от всеобщего осуждения, утвердить ценность сделанного им как поэтом и теоретиком литературы — и, в то же время, зависимость от мифологических представлений о нем как поэте-шуте. Эта двойственность снимается в конечном итоге путем переосмысления самого мифа, которому сопутствовали коренные изменения в системе теоретических и историко-литературных взглядов Радищева. Задачей настоящей работы является попытка проследить развитие радищевского отношения к Тредиаковскому, взяв за основу его прямые высказывания о поэте.

Впервые прямое обращение Радищева к творчеству Тредиаковского обнаруживаем в «Путешествии из Петербурга в Москву». Произведение открывается эпиграфом из «Тилемахиды»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно, и лай» (I, 227). Здесь мы сразу же сталкиваемся с двойственностью радищевского отношения к Тредиаковскому и его поэме. С одной стороны, Радищев не случайно в поисках эпиграфа к важнейшему своему произведению обратился к книге, политические идеи которой оппозиционны по отношению к екатерининской государственности — и более того, к тому ее месту, где выносятся осуждение царям-тиранам⁶. Одобрительно отзываясь Радищев об этом стихе и в черновом варианте главы «Тверь»: «чудище обло, огромно стризевно и лаяя, не столь дурной стих» (I, 431; разрядка Радищева).

С другой стороны, Радищев явно ироничен к этому стиху. Он неточно цитирует его, причем если в эпиграфе это целенаправленная редакция, то в черновике «Твери» — искажение

⁶ Об оппозиционных идеях «Тилемахиды» см.: А. С. Орлов. «Тилемахида» В. К. Тредиаковского. — В сб.: «XVIII век». Сборник статей и материалов. М.—Л., 1935; см. также комментарий к «Путешествию» в полном собрании сочинений Радищева (I, 479). Утверждение комментаторов «Памятника дактилохоренческому витязю» о том, что Радищев с неодобрением относился к «морально-политической тенденции» произведения Фенелона-Тредиаковского (II, 395) представляется неточным. Радищев критикует «вымысел сея книги», «ненужное и к Ироической песни неприличное», «места слабые или растянутые» (II, 202) — т. е. сюжет и композицию произведения, а не его политические идеи, отношение Радищева к которым не было однозначным.

и, вероятно, намеренное. Неслучайно похвалу здесь сопровождает тема неразрывно связанного с «Тилемахидой» смеха: «Вы уже улыбаться начинаете, вам кажется уже, что читаете Тилемахиду. Но смейтесь, как хотите <...> продолжайте и смейтесь» (I, 431). В более позднем комментарии к этому стиху Радищев высказывается еще более определенно: «П. <...> Его <Тредиаковского — И. Д.> смерть и Кервер суть смехотворны:

«Дивище мозгло, мослисто, и глухо, и немо, и слепо;
Чудище обло, озорно, опромно с тризевной и лаей».

Б. Конечно так; но от чего? Не от дактилия и не от шести-стопа, но от нелепых слов...» (II, 217).

Итак, Радищев критикует «нелепые слова» полюбившейся ему цитаты и одобряет ее метрику. Но парадоксальным образом «нелепые слова» оказываются в эпиграфе «Путешествия», а положительный отзыв о метрике не попадает в окончательный текст⁷. Отбрасывая одобрительную характеристику метрики стиха Тредиаковского, Радищев в то же время отказывается и от публикации метрически нетрадиционной поэмы «Творение мира», поместив в «Путешествии» только ямбическую оду «Вольность». Эти колебания в выборе вариантов окончательного текста фиксируют сомнения Радищева в выборе пути в литературе: ему уже ясно, что «ямбы» и «краесловия» поставили русскую поэзию «в пень»; но он еще не решается окончательно вступить на путь, связанный, как хорошо понимает Радищев, с именем всеми осмеиваемого поэта-шута⁸.

Именно поэтому в кратком очерке истории русской поэзии, помещенном в основном тексте главы «Тверь», и особенно в «Слове о Ломоносове» Радищев остается в большой зависимости от мифологической схемы с традиционным распределением ролей. Хотя значение Ломоносова в истории русской поэзии он оценивает не вполне традиционно, считая, что засилье канонизированного им ямба остановило развитие русского стиха, Ломоносов, тем не менее, остается в его глазах «отцом русской литературы»: «В стезе Российской словесности, Ломоносов есть перьвый» (I, 392; см. также I, 380 и др.). Он единственный автор реформы русского стихосложения: «Ломоносов

⁷ Очевидно, Радищева не менее, чем политическая тенденция строки из «Тилемахиды» привлекала именно «нелепость» ее слов: как можно найти «в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия» (I, 354), так и в «нелепых словах» — «изобразительное выражение» чудовищности явлений, подлежащих осуждению в «Путешествии» (см. комментарий к «Памятнику дактилохоренческому витязю», II, 399).

⁸ Неслучайно в черновике «Твери» он стремится предупредить насмешки над поэмой «Творение мира», вызванные ее метрическим сходством с «Тилемахидой».

уразумев смешное в Польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтаны» (I, 352; см. также I, 385). Соответственно роль Тредиаковского в реформе русского стиха Радищев игнорирует. Он получает традиционную характеристику поэта-шута: «Неутомимой возовик Тредиаковский, немало к тому <остановке российского стихосложения — И. Д.> способствовал своею Телемахидою. Теперь дать пример новаго стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложения, глубокий пустили корень. Парнасс окружен Ямбами, и Рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать Дактилями, тому тот час Тредиаковского приставят дядкою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе неродится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из порозшей мхом засвения могилы, в Телемахиде найдутся добрые стихи, и будут в пример поставляемы» (I, 352—353). Тредиаковский в этой характеристике — все тот же бездарный и смешной педант. Эпитет «возовик» перекидается с легендарными словами Петра I о нем («Вечный труженик, а мастером никогда не будет»). Обычна и оценка «Телемахиды» как из ряда вон выходящего плохого произведения.

Однако в этой характеристике намечается и нечто новое по сравнению с традиционной мифологической картиной. Прямо высказанное в черновике «Твери» положительное отношение к метрическим экспериментам Тредиаковского в менее явном виде присутствует и здесь. Несмотря на то, что Тредиаковский-практик сделал невозможным продолжение своих теоретически перспективных опытов, дальнейшее развитие русской поэзии, по мнению Радищева, связано именно с намеченным им «дактилическим» направлением, а не с каноническими ямбами Ломоносова.

Чрезвычайно важна здесь идея развития, абсолютно чуждая мифу о начале новой русской литературы (как и классицистическому сознанию, в недрах которого он зародился). «Отец русской литературы» Ломоносов и шут Тредиаковский уравниваются, так как оба препятствуют смене форм в русской поэзии.

Таким образом, внеся уже в 1780-е гг. некоторые коррективы в общепринятую картину литературного прошлого, Радищев, тем не менее, остается в большой зависимости от нее. Он не ощущает себя ни Мильтоном, ни «Шекеспиром», ни Вольтером, чтобы открыто взяться за скомпрометированные Тредиаковским неканонические размеры. Он уже пишет нетрадиционную в метрическом отношении поэму, но еще не публикует ее. Творчество Тредиаковского и сама его фигура слышком комичны для Радищева, чтобы признать его своим слушателем.

В дальнейшем отношении Радищева к Тредиаковскому ме-

нялось в сторону все большего признания его литературных достижений. Так, в «Памятнике дактилохореическому витязю» автором реформы русского стихосложения называется уже Тредиаковский: «Тредьяковский разумел очень хорошо, что такое Стихосложение и, поняв нестройность стихов Симеона Полоцкого и Кантемира, писал стихами такими, какими писали Греки и Римляне, то-есть для Российского слуха совсем новыми» (II, 215). Коренным образом меняется и понимание гекзаметра Тредиаковского. В «Путешествии» Радищев не отличал его от шестистопного дактиля⁹ (и как дактиль он представляется Радищеву никуда негодным). Теперь же он возражает против чтения его дактилем: «Читая Тилимахиду, всегда ищут в ней дактилий, и читают ее всегда дактилием <...> Но читая по стопам слов, то находишь в них благогласие непрерывное, стих в ухе не звенит и его гармония есть точно та, какую в стихах искали Греки и Римляне». Радищев приходит к пониманию тонической природы гекзаметра Тредиаковского, считая, что последнему удалось создать удачный эквивалент античного гекзаметра — «шестистоп Российской»¹⁰ (II, 217).

Вызывают одобрение Радищева и попытки звуковой организации стиха, предпринятые Тредиаковским в «Тилемахиде». Как известно, звуковая сторона поэзии интересовала Радищева уже в период создания оды «Вольность» (см. главу «Тверь» «Путешествия из Петербурга в Москву», I, 354). Анализируя примеры «изразительной гармонии» в стихах Тредиаковского, Радищев обнаруживает в них то, что было близко ему самому — стремление в звуковой организации стиха добиться не только абстрактной гармоничности звучания, но с помощью фонетики передать смысл: «... в четвертом <стихе — И. Д.> два первые отделения, где посредством слогов: *журч. чис. руч.*, которые одно за одним следуют, не слышится ли то, что Автор описывает? а в последнем отделении в слогах, звучностью похожих, и с ними гласное одинаковое *па, да, ща, ка, мя,* изражают будто падающие воды на камень» (II, 220).

Тредиаковский теперь представляется Радищеву гораздо более значительной фигурой в русской литературе, чем раньше. Он не только декларировал ряд интересных и важных, с точки зрения Радищева, поэтических принципов, но и удачно разработал многие из них практически.

Однако зависимость радищевских мнений от мифологиче-

⁹ Именно поэтому, цитируя в черновом варианте «Твери» «Тилемахиду», Радищев мог «потерять» одну стопу — между пятистопным дактилем и гекзаметром Тредиаковского для него не было принципиальной разницы; и то и другое он воспринимал как дактилический размер.

¹⁰ О роли стиховедческих идей Клопштока в осмыслении Радищевым гекзаметра Тредиаковского см. комментарий к «Памятнику» (II, 397—398).

ского представления о литературных деятелях середины XVIII в. не исчезла полностью. По-прежнему Ломоносов остается для него высшим литературным авторитетом: «Какой стих! я уверен, что и сам Ломоносов его бы похвалил» (II, 219). По-прежнему Радищев продолжает считать Ломоносова создателем языка русской литературы, а стилистические поиски Тредиаковского игнорирует (см., напр., II, 215). Тредиаковский для Радищева по-прежнему остается мифологическим поэтом-шутом. Лучшее свидетельство этому — мотив «дядьки», получивший наибольшую разработку в «Памятнике дактилохорейческому витязю», но появившийся значительно раньше.

Впервые Тредиаковский назван «дядькой» в главе «Тверь» «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Кто бы ни задумал писать Дактилями, тому тот час Тредияковского приставят дядькою...» (I, 353). «Дядька» (воспитатель, первый учитель и руководитель большинства дворянских мальчиков той эпохи) выступает здесь как сниженная параллель мифологического «отца», как пародийный «отец». Соответственно вводится тема родства и наследства: поскольку имя Тредиаковского и «дактили» неразрывно связаны, любого, пишущего нетрадиционным размером, будут считать литературным наследником нелепого творца смехотворной «Тилемахиды».

Мотив «дядьки» получил дальнейшее развитие в поэме «Бова». В ней упоминаются два дядьки. Особенно важен дядька Петр Сума — первый наставник Радищева:

«Я вам сказку лет тех древних
Расскажу, котору слышал
От старинного я дядьки
Моего, Сумы любезна.

Петр Сума, приди на помощь
И струю речи сладкой
Оживи мою ты повесть» (I, 29)

Сума выступает здесь как учитель Радищева в литературе, что подчеркнуто и тем, что обращение к Суме занимает в поэме место, традиционно предназначенное для обращения к предшественнику — литературному образцу. Заметим, что обращение к дядьке стоит в поэме рядом с указанием на литературную ориентацию автора «Бовы»:

«Оживи мою ты повесть.
Без складов она, без рифмы
В след пойдет творцу Тавриды» (I, 29)

Традиция безрифменного стиха народного склада связана была не только с поэмой Боброва, но и с экспериментами Тредиаков-

ского (неслучайно размер «Бовы» хореический, в то время как «Таврида» написана белым четырехстопным ямбом).

Однако, взяв Петра Суму в свои литературные учителя, дав вполне серьезную характеристику литературным талантам своего наставника, Радищев одновременно наделяет дядьку и комической характеристикой:

«Зане дядька мой любезной
Человек был просвещенной,
Чесал волосы гребенкой,
В голове он не искался,
Он ходил в полукафтаны;
Борода, усы обриты,
Табак нюхал, и в картишки
Играть мастер; еще в чем же
Недостаток, чтобы в свете
Прослыть славным стихотворцем
Ироической поэмы
Или оды или драмы?» (I, 30)

Здесь Сума неожиданно выступает как пародийный поэт. Двуплановость характеристики, упоминание «ироической поэмы», наименование «дядьки», декларация нетрадиционного пути в поэзии позволяет соотнести образ Сумы с «дядькой русской литературы» Тредиаковским. Но теперь Радищев уже не отказывается от этого литературного родства.

Упомянутый в поэме дядька Бовы Цымбалда никак не проявляется в дошедшей до нас части поэмы. Зато его имя (имя «славнейшего из всех дядек» — II, 203) дано центральному персонажу «Памятника дактилохореическому витязю». Цымбалда, «дядька и Профессор» Фалелея, будучи сниженной, пародийной параллелью к образу воспитателя и руководителя Телемака, одновременно спроецирован Радищевым и на дядьку Петра Суму, и на «дядьку русской литературы» Тредиаковского. В отличие от Сумы, он отказывается рассказывать Фалелею сказки (в том числе, и «Бову»). Зато он выступает пропагандистом «Тилемахиды», декламируя ее наизусть своему воспитаннику. Цымбалда является пародийным отцом Фалелея («Скоро возлюбил Фалелея, звал его чадом, а сей ему почасту говаривал: отче мой дражайший!» — II, 211; ср. аналогичное обращение Тилемаха к Фермосириду¹¹), так же как Тредиаковский является пародийным «отцом русской литературы».

Итак, мифологическое представление о Тредиаковском-шуте, сохраняется. Но радищевское отношение к нему существенно

¹¹ В. К. Тредиаковский. Сочинения. Изд. А. Смирдина. СПб., 1849. Т. II, отд. 2, с. 46.

изменилось. Ирония Радищева распространяется теперь не только на Тредиаковского, но и на саму оценку его в мифе о начале новой русской литературы. Эта тенденция наметилась уже в «Бове», где Радищев, подчеркивая комичность образа своего литературного учителя Петра Сумы (соотнесенного с Тредиаковским), в то же время провозглашает себя его последователем. В «Памятнике» она становится еще более определенной. Радищев пародирует «Тилемахиду», пародирует в образе дядьки Цымбалды самого Тредиаковского, но одновременно пародирует и общепринятые суждения о нем. Так, декламация Цымбалдой «Тилемахиды» наизусть соотносится с одним из вариантов анекдота о наказании в кружке Екатерины заучиванием наизусть шести строк из поэмы¹². В рассуждении о снотворности «Тилемахиды» («Б. <...> Разве Тилемахида не может служить вместо сиденгамова жидкого лаудана? — П. Нет, конечно. Она ни на что не годна, ниже от бессонницы» — II, 202; мотив снотворности поэмы Тредиаковского прослеживается затем на протяжении всего «Памятника»: Цымбалда усыпляет Фалелея чтением «Тилемахиды», оба под ее влиянием видят сны и пр.) пародируются нападки на поэму во «Всякой Всячине», сыгравшие не последнюю роль в оформлении образа Тредиаковского-шута¹³.

Переоценка мифа о начале новой русской литературы не уничтожила комической окраски образа Тредиаковского в глазах Радищева. Пародия, ироничность пронизывает весь текст произведения, посвященного его защите. Но природа радищевской насмешки над Тредиаковским изменилась. Пародия утрачивает овою сатирическую разрушительную функцию, смех становится созидательным, возрождающим. Амбивалентность радищевского смеха в «Памятнике» проявляется в самом отборе объектов пародии: подавляющее большинство их является для Радищева текстами вполне авторитетными, к которым в серьезных контекстах он относится с уважением¹⁴. Пародирование этих произведений в «Памятнике» не имеет целью снижение их литературной ценности: насмешка над ними необходима

¹² См.: Евгений [Е. А. Болховитнов]. Словарь русских светских писателей. Т. II, М., 1845, с. 221.

¹³ Тема снотворности «Тилемахиды» несколько раз возникла в журнале; см.: «Всякая Всячина», л. 3 (с. 15), л. 5 (с. 30, 31, 32), л. 7 (с. 46—47).

¹⁴ Кроме выявленных в комментарии к «Памятнику» «Жизни моего отца» А. Коцебу, «Недоросля» Фонвизина и «Тилемахиды», отметим также пародию на «Эмиля» Руссо и педагогику по его рецептам (II, 204), пародийное использование библейских образов (II, 211), «Дон-Кихота» Сервантеса (II, 213). Из перечисленных текстов определенно отрицательное отношение могла вызывать только «Жизнь моего отца». Однако использование в «Памятнике» «Жизни моего отца» является не столько пародийным, сколько пародическим («Использование какого-либо произведения как макета для нового произведения. . .» — Ю. Н. Тынянов. О пародии, с. 290).

Радищеву как средство преодоления уничижительного отношения к герою его произведения — Тредиаковскому. Убедительным примером этого является пародирование в «Памятнике» «Дон-Кихота» Сервантеса.

Имя «Дон-Кихота» упоминается в предисловии к «Памятнику» при перечислении тем, якобы «выбранных из «Тилемахиды». В перечне тем, помещенном перед четвертой главой, его нет. Зато мы встречаем его в тексте главы, где оно вводит сервантовский прием преобразования бытовой действительности в условно-художественную под влиянием литературного произведения. Как в «Дон-Кихоте» под влиянием образов из рыцарских романов мельницы превращаются для Дон-Кихота в великанов, а постоянный двор в великолепный замок, так и для Цымбалды с Фалееем под влиянием «Тилемахиды» кузница превращается в преисподнюю, кузнец — во владыку подземного царства, огонь в горне — в адское пламя: «Цымбалда, начитавшись много тех книг, которые ему достались после барина, хотя не таков был, как Дон Кихот, начитавшись рыцарских романов, и не свершалось то в очью его, что находилось только в его воображении, и при всяком случае, где он малейшее находил сходство того, что было пред его глазами, с тем, чего начитался, он читал то сходное место из книги, имея на старости память довольно острую. Итак, увидев кузницу еще издали, он возгласил: «Самая страшная тут находилась пещера...» и т. д. (II, 213—214). Это не единственный случай превращения Цымбалдой бытовой реальности в художественную. Так, оwin становится для него вертепом (II, 211), Лукерья — Гликерей (II, 212).

Персонаж, производящий художественное преобразование действительности, — Цымбалда — является, таким образом, некоей параллелью к Дон-Кихоту. Он не совсем Дон-Кихот («не таков был, как Дон Кихот»), он сниженный, пародийный Дон-Кихот. Одновременно посредством мотива «дядьки» и любви к «Тилемахиде» Цымбалда соотносится и с Тредиаковским. Тредиаковский оказывается в родстве с рыцарем печального образа. Это родство закрепляется определением, данным Радищевым Тредиаковскому и вынесенным автором в заглавие произведения: «дактилохорейческий витязь».

Соотнесение Тредиаковского с Дон-Кихотом свидетельствует о том, что сущность комизма фигуры Тредиаковского в глазах Радищева стала принципиально иной. Тредиаковский для него теперь комичен так, как комичен Дон-Кихот: он и смешон, и достоин уважения. Быть последователем поэта-пародии невозможно, даже если этот поэт и высказывал здравые мысли. Путь Дон-Кихота — это путь своеобразного, хотя иногда и комичного в своей нетривиальности, таланта.

Итак, интересом к стиховедческим штудиям Тредиаковского

далеко не исчерпываются радищевские размышления об этом вызывавшем всеобщие насмешки поэте. Отношение Радищева к Тредиаковскому было связано с важнейшей для него проблемой — проблемой развития литературы. Ощущая неудовлетворенность тем итогом, к которому пришла русская поэзия последней трети XVIII в., считая, что автоматизированный метр и не менее автоматизированный рифмованный стих препятствуют развитию новых литературных форм, Радищев понимает, что иные пути в литературе неизбежно связаны с именем Тредиаковского. Но Тредиаковский — комическая фигура русской поэзии, и это отталкивает Радищева. Позже он приходит к переоценке значения Тредиаковского для русской литературы. Комизм, связанный с именем поэта-педанта, перестает мешать всерьез относиться к сделанному им. Сам комизм перестает оцениваться как нечто противоположное поэзии¹⁵, становясь средством изживания застывших литературных форм и мнений. С помощью смеха Радищев изнутри разрушает миф о начале новой русской литературы. С помощью смеха он преодолевает и представления о незблемых литературных авторитетах, закрепленных этим мифом. Для становления литературного самосознания Радищева, таким образом, оказались чрезвычайно важными не только поэтическая практика и теория Тредиаковского с их метрическими опытами, но и сам мифологический образ поэта-шута, в борьбе с которым Радищев выработывал идею неизбежной литературной эволюции и осваивал новые функции комического как средства этой эволюции.

¹⁵ Вероятно, смешное вообще именно в этот период творчества входит для Радищева в сферу эстетического. Именно в это время он пишет два пародийно-комических произведения, в которых смешное не подчинено задачам сатиры — поэму «Бова» и «Памятник дактилохоренческому витязю». Характерно, что в «Памятнике» Радищев выдвигает одинаковый критерий как для оценки своего произведения, так и для оценки произведения Тредиаковского: «Читатель! если ты раз хотя один улыбнешься, то цели моей я уже достиг» (II, 201) и «...если творец Тилимакиды заставит тебя улыбнуться, то венец ему уже готов» (II, 202).

СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ С. Н. ГЛИНКИ (1807—1812 гг.)

Л. Н. Киселева

Период между Тильзитским миром и Отечественной войной (1807—1812 гг.) — самостоятельная и сложная эпоха, явившаяся важным этапом в формировании национального и культурного самосознания.

Неудачи в антинаполеоновских войнах, позорный мирный договор, униженное положение России обострили национальное чувство и всколыхнули патриотические настроения в стране. Понятия «Отечество», «родной язык», «русская история» получили новое звучание. Широко бытовавшее в дворянской среде французское воспитание, французские моды и французский язык стали казаться многим мыслящим людям не только недопустимым легкомыслием, но и прямым предательством национальных интересов. В этой обстановке вперед выдвинулась консервативная партия. Недовольство и разочарование правительственной политикой привело к стремлению противопоставить либерализму императора Александра и его молодых друзей, приведших Россию к унижению, иные лозунги, иную программу. Знаменем консервативного лагеря стала национально-патриотическая идея.¹ Французомании современного дворянского общества и его увлечению иноземными образцами деятели этого лагеря противопоставляли русские образцы. Но для них борьба с французскими модами тесно переплеталась с борьбой с французскими идеями, т. е. с просветительской философией. Именно с «пагубным влиянием» этих идей они связывали забвение русскими дворянами интересов родины, презрение к своему языку, обычаям и нравам своего народа, незнание националь-

¹ Общая характеристика этого периода с указанием на расстановку сил и более или менее подробными очерками деятельности отдельных группировок и лиц приводится в огромном числе исследований по русской культуре нач. XIX в. Давно сделавшись общим местом и повторяясь из работы в работу, такие очерки создают иллюзию исчерпанности проблемы, что, однако, далеко не так. В интересующем нас аспекте см.: В. И. Бочкарева. Консерваторы и националисты в России в начале XIX века. — В кн.: Отечественная война и русское общество. 1812—1912. М., 1911, т. II, с. 194—220.

ной истории, неуважение к религии и авторитетам, могущие привести к гибельным последствиям.² Развенчание ложного «всемирного» (т. е. западного, французского) идеала и воспитание молодых дворян в духе национальной русской традиции и любви к Отечеству сделали центральными вопросами литературной деятельности представителей консервативного лагеря.

Конечно, рассматриваемые идеи по-разному преломились в творчестве различных литераторов, но, так или иначе, ими была проникнута и бурно развивавшаяся в те годы публицистика, и приобретшие вес и популярность сочинения гр. Ф. В. Ростопчина, А. С. Шишкова, и творчество И. А. Крылова. Однако было издание, в котором национально-патриотические идеи нашли свое наиболее полное и законченное воплощение. Это был журнал С. Н. Глинки «Русский вестник».

Очевидно, что само название журнала и эпиграф к нему, почерпнутый из Державина: «Мила нам добра весть о нашей стороне, / Отечества и дым нам сладок и приятен» — были программными. Открывая первую книжку своего издания, редактор писал во «Вступлении»: «Издавая *Русской Вестник*, намерен я предлагать читателям все то, что непосредственно относится к *Руским*. Все наши упражнения, деяния, чувства и мысли должны иметь целью Отечество; на сем единодушном стремлении основано общее благо».³

² Разумеется, подобные тенденции не были специфической чертой именно русской культуры того периода, а характерны для развития европейской культуры в целом и вызваны общими причинами: эксцессы Французской революции и последовавшее за ними разочарование в идеях французского Просвещения и наполеоновские войны, втянувшие все народы Европы в борьбу за национальную независимость (см.: А. Н. Шебунин. Европейская контр-революция в первой половине XIX в. Л., 1925).

С другой стороны, и на русской почве подобные идеи высказывались не впервые. Борьба с галломанией, роскошью и модами связана с традицией сатирической журналистики и публицистики XVIII в. (что ощущали современники и на что указал еще Н. С. Тихонравов в статье «Граф Ф. В. Ростопчин и литература в 1812 г.» — См.: Н. С. Тихонравов. Соч. Т. 3, ч. I. М., 1898, с. 352, 356). Идея обращения к русской истории также важна для многих деятелей XVIII — нач. XIX вв. Особый смысл она приобретает в сочинениях Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» (см. обобщающую статью А. Кросса: A. G. Gross. N. M. Karamzin's 'Messenger of Europe' (Vestnik Yevropy), 1802—3. — В кн.: Forum of Modern Language Studies. Vol. V, N. 1, January, 1969). Требования народности литературы раздаются в «Дружеском литературном обществе» и др. литературных организациях первых лет XIX в. Poleмика по вопросам языка началась еще в 1803 г. Однако в рассматриваемую эпоху весь этот комплекс идей не просто актуализируется, но и сгущается, приобретает новый акцент (см.: Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975, с. 179). Накаленная общественная атмосфера сообщила идеям ударную силу, и они оказались по-своему и в разном смысле плодотворными для последующего развития русской мысли (романтизм, декабристы, младоархаисты и т. д.).

³ См.: «Русский вестник», 1808, № 1, с. 3. В дальнейшем все ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием в скобках года, № и страницы. Курсив зд. и далее принадлежит С. Глинке.

Слово «Вестник» в заглавии журнала было достаточно традиционно: «Северный Вестник», «Драматический Вестник», «С.-Петербургский Вестник», «Московский Вестник» и, конечно, в первую очередь, «Вестник Европы» Н. М. Карамзина. Бесспорно, заглавие «Русский вестник» полемически заострено против направления карамзинского журнала: «Вестник Европы» был призван рассказывать русским читателям о жизни Европы, «Русский вестник» — о жизни России. Таким образом, уже в названии журнала содержалось противопоставление, которое не могло ускользнуть от современников.

Родившийся в эпоху национального подъема и вызванный на свет горячим желанием редактора примирить русских дворян со своим Отечеством, журнал в первые годы своего существования (1808—1812) имел довольно значительный успех у читающей публики. Сам С. Н. Глинка рассматривал свой «Русский вестник» как оружие в борьбе с Наполеоном и в старости с гордостью писал в своих «Записках», что журнал его навлек гнев самого Наполеона, который через своего посланника Колленкура выразил Александру I недовольство журналом.⁴

Конечно, значения «Русского вестника» в истории русской журналистики 1800—1810-х гг. не следует преувеличивать, но все же нельзя не признать, вслед за кн. П. А. Вяземским, что «преимущественно в первые годы существования своего журнал имел историческое и политическое значение».⁵ Между тем, это издание почти не изучено. В исследовательской традиции за ним прочно утвердилась слава казенно-патриотического реакционного журнала, и это дает право отделяться от него несколькими «дежурными» фазамми. Не повезло и его издателю — Сергею Николаевичу Глинке. Довольно популярный в 1800-е гг. поэт, драматург, публицист, журналист, он на долгие годы пережил свою литературную известность, хотя до самой своей смерти в 1847 г. продолжал заниматься литературной деятельностью. Человек необычайно пылкий и увлекающийся, С. Н. Глинка имел несчастье доводить до крайней точки все свои даже интересные и перспективные идеи. Вся его жизнь и деятельность, в том числе и «Русский вестник», исполнены наивными, а иногда и нелепыми крайностями. Это делало его фигуру комической, а идеи, беспрестанно повторявшиеся им со свойственной ему прямолинейностью и завидной настойчи-

⁴ См.: Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895, с. 237. Характерно, что русский царь не подозревал о существовании «Русского вестника» и узнал о нем благодаря французскому императору. Это ясно свидетельствует о том, что журнал вовсе не выражал **официальной**, т. е. правительственной, линии, как это часто утверждается (см., например: А. И. Комаров. Реакционная журналистика. — В кн.: Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. I. Л., 1950, с. 173).

⁵ П. А. Вяземский. Сергей Николаевич Глинка. — В кн.: его же. Полн. собр. соч. Т. II. СПб., 1879, с. 338.

востью, обесценивались в глазах современников. В историю С. Глинка вошел таким, как он изображен в сатирах К. Н. Батюшкова и в «Доме сумасшедших» А. Ф. Воейкова (печатавшегося, к слову сказать, в «Русском вестнике»). Эти стихи, да «постоянный эпитет» «квасной патриот» — вот то, чем обычно ограничиваются, говоря о С. Глинке.⁶

Между тем, его взгляды, несмотря на их эклектизм, крайнюю сумбурность выражения в сочетании с утомительным повторением одних и тех же мыслей, складываются в довольно стройную систему. Она никогда не была изложена автором в каком-либо одном тексте и вряд ли даже додумана до конца как логическое целое. Она была реализована во всем корпусе текстов «Русского вестника». В журнале рассматривался широкий круг религиозных, нравственных, политических, социальных вопросов — от самого общего философского осмысления основ миропорядка, природы человека, государственной власти, социального неравенства до рассуждений о том, как следует строить семейную жизнь, по каким учебникам учить детей французскому языку и географии и т. д. Это связано с тем, что «Русский вестник» стремился активно воздействовать не только на сознание, но и на реальную жизнь современников. Он хотел опровергнуть в глазах читателей «ложные» философские системы и дать им «правильный» взгляд на мир, объяснить их обязанности, дать образцы «правильного» поведения, продиктовать программу каждодневной жизни и убедить в необходимости принять ее. Другими словами, в журнале отчетливо прослеживается определенная и детально разработанная идеальная модель, создателем которой был его редактор С. Н. Глинка. Для того, чтобы осмыслить «Русский вестник» как единое целое, а не просто набор статей по отдельным вопросам, необходимо эту модель вычлениить и описать. Это и явилось задачей настоящей работы. В ней предпринята попытка реконструкции и описания системы взглядов С. Н. Глинки.⁷ В дальнейшем такое описание позволит рассмотреть генезис системы воззрений, источники ее основных идей, соотношение с другими совре-

⁶ Ни одного специального исследования о С. Н. Глинке не существует, хотя литература, содержащая упоминания и краткие характеристики его жизни и деятельности, а также разыскания по частным вопросам, достаточно обширна. Еще при жизни писателя Б. Федоровым была выпущена посвященная ему брошюра (см.: Б. Федоров. 50-летие литературной жизни Глинки. СПб., 1844), которая, однако, ни в коей мере исследованием не является. Самое глубокое и интересное, что написано о С. Глинке, — цитированный выше некролог П. А. Вяземского, который подчеркнул, что «жизнь и труды Глинки имеют свое неотъемлемое место в истории русской литературы» (П. А. Вяземский. Цит. соч., с. 337), но при всей своей глубине это все-таки лишь некролог.

⁷ Материалом для реконструкции служил весь корпус текстов «Русского вестника» эпохи его расцвета, т. е. за 1808—1812 гг.

менными ей системами, проследить развитие ряда идей в сознании последующих поколений. Оно позволит также по-новому взглянуть на «Русский вестник», оценить его интересную и своеобразную программу, определить его позицию в важнейших спорах эпохи — о языке и народности.

* * *

*

Мировосприятие С. Н. Глинки внутренне очень напряженно и полемично, ориентировано на потенциального оппонента. Он исходит из логики сознания, воспитанного и сформированного культурной традицией «философского столетия». Высказывая свои идеи, он тут же приводит (чаще всего в собственном пересказе) мысли «лжеумствователей осьмагонадесять века» и вступает с ними в яростный спор. Но интереснее то, что сам факт того или иного высказывания Глинки вызван существованием в оспариваемой системе представления, которое необходимо опровергнуть (т. е. чужая система первична по отношению к своей). Это вполне объяснимо, поскольку сам Глинка не только прекрасно был знаком с философией XVIII в., но именно она составляла основу его мировосприятия.⁸ Вообще, его отношение к идеям философского века гораздо сложнее, чем лежащая на поверхности брань в их адрес, но этот вопрос требует специального рассмотрения. Сейчас же нам важно, что идеи «лжеумствователей» явились отправной точкой идей С. Н. Глинки.

Воспринимая философию XVIII в. как материалистическую и атеистическую, Глинка именно в этом видит основное зло и корень всех ее ошибок. Поэтому «Вера» становится краеугольным камнем его триединой формулы «Бог. Вера. Отечество» (1811, № 8, с. 71), составляющей краткое «резюме» его системы.⁹

Бог (Творец) — «Один *Всесовершен*» (1811, № 11, с. 133), люди же грешны, ограничены в своих опоспособностях и возможностях (см. там же, а также 1812, № 7, с. 71). «Беспредельное блаженство» возможно лишь «в одних небесах» (1812, № 7, с. 71), в «блаженной вечности», «в сем единственном пределе совершенства» (1811, № 11, с. 133). «Человек приходит в мир не для благоденствия земного» (1809, № 2, с. 341—342), его

⁸ Забегая вперед, отметим, что именно поэтому С. Н. Глинка иногда непроизвольно цитирует или кладет в основу своего построения мысль кого-нибудь из просветителей XVIII в. Особую роль для него играют идеи Ж.-Ж. Руссо.

⁹ При кажущемся сходстве с печально знаменитой формулой С. Уаврова между ними обнаруживаются существенные различия: не «православие», а «Бог» и «Вера», не «самодержавие», а «Отечество». Этот акцент меняет внутренний смысл и общественное звучание системы.

удел — страдание, но «тот, кто терпеливее переносил труд, нужду, обиды, неправды и даже гонение, тот насладится *блаженною вечностию*» (1811, № 11, с. 133). «Земное благоденствие» преходяще, мнимо и потому ложно. Люди, достигшие пределов земной власти или богатства, забывают, что эти «блага» могут быть мгновенно утрачены. В мире ценностей С. Глинка власть, богатство, чины занимают самые низкие ступени, т. к. не только преходящи, но и относительны — они не приносят полного «земного счастья»: «С богатством часто живут заботы и беспокойство, неизвестныя бедным. <...> Как часто в огромных палатах, на лоне роскоши и неги, любимцы щастия мирского скучают!» (1811, № 7, с. 41). Но даже истинные земные ценности — любовь родных и близких, семейное благополучие (независимые от социального положения), которыми так восхищается Глинка, оказываются в конечном итоге призрачными — человек не властен в жизни и смерти и в любую минуту может утратить земное блаженство. В этом заключается то истинное «*Христианское равенство*», которому «и Царь и земледелец от начала до исхода жизни равно подчинены» (1811, № 10, с. 43). Божественный Промысел управляет жизнью человека, и единственное средство достичь истинной радости и счастья — подчиниться «уствам веры», построить свою жизнь на законах христианской морали.

Однако С. Н. Глинка отнюдь не был религиозным философом, и детальные рассуждения по вопросам веры возникают у него из необходимости построить совершенно иную модель мира, чем та, которую строили философы XVIII в. Поэтому он и выбирает для своей концепции противоположное основание. В деталях схемы он согласен иногда следовать за своими оппонентами, но тем важнее для него доказать ее принципиальное отличие от просветительской (грозный опыт кровавой Французской революции состоит за каждым его утверждением).

С. Глинка так конструирует философию «*лжеумствователей*»: они отрицают существование загробной жизни, поэтому проповедуют возможность и необходимость достичь «безпредельного блаженства» на земле. Отсюда их стремление к уравниванию всех в правах, к «безпредельной свободе» (1812, № 2, с. 28). Сознвая привлекательность этих идей, Глинка очень часто возвращается к ним, чтоб подвергнуть уничтожающей критике. Приведем лишь одну из характерных его тирад: «Положим, что суемудрие новых Философов уравнило бы все подати, изтребило бедность и нищету; но оно все не могло бы *уравнять земнаго щастия жизни человеческой*. Чем утешится поселянин в те минуты, когда неотвратная смерть похищает у него супругу, детей и все то, что не только услаждало его *изобилием*, но даже и самую *бедность*? Все *уравнения Философическия* облегчат ли скорбь его, подадут ли ему надежду <...>. Вера, одна

вера облегчает скорбь и страдание отца и супруга <...>, одна Вера *уравнивает* в чувствованиях душевных и ожиданиях небесных земледельца и Венценосца. Злополучный Людовик XVI тем же утешался в темнице, под властью лютых убийц, чем и последний из его подданных, готовящийся на смерть *за закон отцов своих*: Вера и надежда облегчали тяготу их оков» (1811, № 11, с. 134—135; ср. также: 1811, № 10, с. 81—107).

Но не следует думать, что признание «ограниченного» истинным, а «всемирного», «беспредельного» ложным, подчинение человеческой воли высшей воле Творца приводит в системе С. Глинки к унижению человека или к его пассивности. Наоборот, активность каждого отдельного человека, стремящегося к «общей пользе», — исходное условие работы системы. С. Глинка направляет эту активность на служение «ближнему». Слово «ближний» для него — синоним слова «соотечественник». Обвиняя «лжеумствователей» в том, что они стремились быть «всемирными гражданами», пеклись о благе «Негров и Кафров», «забыв *современников*, рожденных с ними в одной земле» (1812, № 7, с. 70), Глинка замечает, что любовь к родине внушена человеку самим «Творцом Природы» и «кто не любит родины, то есть того места, где он наслаждался привязанностью отца и матери, тот не может любить ничего» (1812, № 8, с. 24—25). Поэтому-то отсутствие или утрата этого чувства может привести к ужасным последствиям (что, с его точки зрения, доказал опыт Французской революции). И именно поэтому семейной жизни, «семейственному воспитанию», обязанностям отца, матери, сына, дочери отводится такое большое место в системе С. Н. Глинки. С одной стороны, в семье начинается воспитание гражданских добродетелей и, с другой, — только став семейным, молодой человек становится настоящим гражданином (см.: 1809, № 3, с. 433), т. е. семья — начало и завершение пути человека к званию гражданина и сына Отечества.

Постепенно, однако, понятия «семьи» и «родины» расширяются. Родина (место рождения) — это малая часть большого единства — родной страны, Отечества, которое неразрывно с государством. Государство же «можно уподобить *семейству* и *дому*. Вожди народов суть *домоправители* областей, порученных им Провидением. Чиновники, постановленные волею венценосного *Домоправителя*, подражая особенной его любви к своему *семейству*, к *своему дому*, то есть к народу своему, должны также все способности разума, все силы душевные посвящать исключительно сей *особенной любви*, которая создает любовь к отечеству» (1812, № 7, с. 72). Значит, государство — семья, царь — отец, которому подданные должны подчиняться. Однако тип отношений «царь — подданный» является лишь частным случаем общей модели подчинения: так же строятся отношения «военноначальник — солдат», «помещик —

крестьянин», «господин — слуга» и т. д. Уподобление всех человеческих отношений семейным приводит к следующей модели мира:

«Отец»	«Семья» («дети»)
1. Бог	1. Человечество (все люди)
2. Государь	2. Отечество (все подданные)
3. Начальник (помещик, господин, полководец и т. д.)	3. Подчиненные (крестьяне, слуги, солдаты и т. д.)
4. Отец	4. Дети

Здесь помещик — отец своих крестьян — будет подобен Государю — отцу Отечества — и Богу — отцу всех людей (подобие по функции и месту в своей группе). Но если вспомнить, что Государь — не только отец своих подданных, но и супруг и отец своих родных детей, как и последний из его подданных, то оказывается, что подданный подобен Государю. Подобие находит полное завершение, когда Глинка вводит отношение: Бог — Отец своего Божественного Сына. Богоподобие человека доказывается Глинкой приписыванием Богу-Сыну чувств, присущих человеку — дружбы и любви к Отечеству (см.: 1811, № 5, с. 62).

Если рассмотреть характер отношений между звеньями левой цепочки, то получается, что любой начальник **подчиняется** Государю и оба они — Богу. Бог же — высшее звено цепи, ибо Он не связан ни с кем отношением подчинения, тогда как Ему подчиняются все; в этом и заключается столь важный для Глинки принцип **равенства** — высшего христианского равенства.

Между левой и правой частью схемы существуют отношения **взаимного подчинения** (особое положение высшего звена уже оговорено). Именно в силу «семейного» характера отношений Государь служит своим подданным так же, как они служат ему. Их объединяет «общая польза» — понятие, без которого «все подданные» не могут составить «отечества». Понятие «Отечество» — центральное и важнейшее для С. Глинки — включает в себя всех людей, населяющих страну и объединенных «общей пользой». В «земной» жизни Отечество подобно Богу, ибо перед его лицом все также оказываются равны: все — «сыны Отечества». Это некое высшее «истинное» равенство, подобное «христианскому равенству», но оно совсем не исключает того, что и миропорядок, и государство основаны, для С. Глинки, на строго иерархическом принципе, имеющем божественное происхождение. Каждому человеку отведено в мире определенное место, ступень на иерархической лестнице. Но какое бы место он ни занимал, он всегда — часть целого, вне

которого он не может быть благополучен. «Личная выгода» каждого отдельного человека неразрывна с «общей пользой» (см.: 1812, № 3, с. 20), «без стремления к общему благу частная выгода есть призрак, который обольщая мгновенно, навсегда повергает в нерачение о самих себе и о славе Отечества» (1811, № 7, с. 123). Польза же — и личная, и общая — состоит в ревностном исполнении своей «должности». Поэтому С. Глинка старательно очерчивает круг обязанностей каждого члена государства. Чем более высокое положение он занимает, тем этот круг шире, тем выше ответственность и тем труднее должность (см.: 1809, № 2, с. 215). Больше всех трудится монарх, ибо «каждый из подданных трудится для себя, или для своего семейства; Цари-Отцы трудятся для каждого и для всех» (1812, № 3, с. 99; ср.: 1809, № 4, с. 46). Уделяя монарху (как общественному институту, так и конкретным историческим личностям) большое место в своей системе и на страницах своего журнала, С. Глинка неустанно подчеркивает его **обязанности** по отношению к подданным. Редактор использует наставления князя Игоря сыну Святославу, чтобы авторитетным историческим свидетельством подкрепить мысли, многократно им повторявшиеся. Князь Игорь говорит сыну, что князья должны «уметь другими повелевать таким образом, чтобы поданные чувствовали власть нашу по единому довольству и благополучию своему! Многие заблуждаются, думая, будто бы Государь должен от подданных своих отличиться великолепием одежд, роскошною трапезою, множеством злата и серебра... Государь превосходит подданных своих не житьем спокойным, но усердным старанием о пользе их и трудолюбием» (1809, № 4, с. 39; ср. также: 1808, № 4, с. 3—4; и др.).

Итак, монарх — отец народа, т. е. отец Отечества, и это значит — одновременно — его верный сын, всем для него жертвующий. Образцом монарха — «сына Отечества» был для С. Глинки Петр I, якобы сказавший перед Полтавской битвой: «Ведайте о Петре, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благоденствие ея» (1808, № 1, с. 22 и еще многократно). Подчинение такому монарху (а именно таким должен быть всякий царь!) не может быть рабством, поэтому С. Глинка опровергает утверждения «иноземцев» о царящем в России «самовластии» (см.: 1808, № 4, с. 73). Русские — верные подданные своих государей, которых они чтут за добродетели и жертвы Отечеству и подчиняются им, соблюдая свою и общую пользу. **Личным** качествам царей и незначительным на первый взгляд поступкам их частной жизни уделяется большое внимание на страницах «Русского вестника». Так, личные добродетели юного Михаила Романова и его отца остановили на нем выбор сограждан и привели единодушному и добровольному избранию его на

русский престол (см.: 1809, № 1, с. 83—99). Не менее важны для С. Глинки факты свободного и сознательного волеизъявления отдельных подданных, когда они, имея в виду не свои корыстные цели, а пользу Отечества, вступают в споры и противоречат царям. Характерно, что в одном из первых номеров журнала мы встречаем статью «Памятник Князю Якову Феодоровичу Долгорукову, другу Правды» (1808, № 5, с. 121—132), где приведены любимые изречения этого строптивого сподвижника Петра I: «Любить Царя, любить Отечество. Царю правда — лучший слуга».

Описывая далее свое государство-семью, С. Глинка продолжает настаивать на необходимости «степеней общественных», т. е. на внешнем неравенстве, которое, вместе с тем, является глубинным равенством — в трудах на пользу Отечества — ее членов. «Различные степени составляют не *рабство*, но *твердое основание общежития*. Где нет законного разпорядка, там каждый захочет своевольствовать; всякой бросит свое дело; там запустеют нивы, разрушатся села и города; там в яростной необузданности страстей будут грызть и пожирать друг друга, там будут пить кровь ближних, как некое сладкое питье! Вот ужасные, вот гибельные плоды *вольности Французской*» (1812, № 8, с. 28—29, ср. также № 3, с. 9). Угнетение и рабство являются результатом нарушения «законного разпорядка», который создан Богом для блага людей (см.: 1812, № 3, с. 96—97).

И все-таки вопрос о «преимущественном состоянии» отдельных членов общества, в первую очередь, дворян, перед другими чрезвычайно занимал редактора «Русского вестника». Закрепляя за ними определенный круг обязанностей — воинов, защитников Отечества и помещиков, отцов своих крестьян — С. Глинка всячески старается показать, что сам по себе факт принадлежности к дворянству не является достоинством и вообще не имеет оценочного смысла. Только свято исполняя свой долг перед Отечеством, дворянин *достигает* «имени *благородного человека*, и удостоивается преимуществ и отличий, предоставленных ему Отечеством» (1809, № 3, с. 413). Борясь с аристократическими предрассудками, Глинка писал: «Название *благородного человека* также часто неправильно употребляется, как и все другие слова. Простой воин, земледелец, усердно и терпеливо переносящие обязанности свои, суть достойные и благородные сыны Отечества» (1808, № 6, с. 315; ср.: «Имена усердных сынов Отечества украшаются делами: вот истинная знатность, достоинство и благородство!» — 1809, № 1, с. 16—17; и др.).

Особая тема, в этой связи, — проблема взаимоотношений крестьян и помещиков. Хотя С. Глинка с негодованием отвергает утверждения все тех же «иноземцев» о гибельном поло-

жении русских крестьян как следствии их рабства, слишком частое возвращение к этой теме само по себе свидетельствует о его беспокойстве и неуверенности в действительном благополучии существующего в России положения. Настойчиво подчеркивая, что «долг каждого Рускаго помещика: быть отцом и хранителем поселян своих; что Богу и Отечеству отдают они отчет во всех своих делах» (1809, № 2, с. 215), Глинка ищет доказательств тому, что «Истинные Руские помещики, благородные по делам, а не по одному только имени, были всегда помещиками человеколюбивыми. Они знали и старались напечатлеть в сердцах детей своих, что крестьяне суть *такие же люди, как и они*» (1809, № 2, с. 207; выделенные курсивом слова — цитата из письма И. И. Неплюева к сыну). С этим связана публикация статей типа «Примерная приверженность и признательность крестьян, при кончине благодетельнаго помещика» (1809, № 2, с. 207—220), «Признательность крестьянская» (1811, № 8, с. 75—87) и т. д. Один раз на страницах «Русского вестника» был прямо поставлен вопрос об освобождении крестьян. В статье «Напоминания о Екатерине Великой», прославляя в императрице «Монархиню-Россиянку», «Матерь и благотворительницу Рускаго народа», редактор пишет: «Может быть некоторые спросят: почему же Екатерина не дала свободы крестьянам?» Ответ характерен, но и он, тем не менее, свидетельствует об истинных симпатиях С. Глинки: «Разрешение сего вопроса не относится к рассуждениям частного человека» (1808, № 4, с. 42—43). Не рассуждая о правительственных постановлениях, не им, а законам сердца и совести «частного человека» придавал С. Глинка решающее значение. Сочувственный читатель «Путешествия из Петербурга в Москву», воскликнувший: «Стыд великий, позор и горе той стране, где торгуют человечеством», он в 1808 г. отпустил на свободу своего последнего крепостного.¹⁰

Однако описание системы взаимоотношений помещиков и крестьян и — шире — вообще начальников и подчиненных в понимании С. Глинки было бы неполным, если бы мы ограничились понятиями общей и личной пользы, долга, истинного благородства. Есть понятие, которое цементирует вообще всю систему мировосприятия Глинки, придает ей внутреннюю цельность и смысл — это благотворение. О нем сам автор патетически восклицал: «О сила и могущество благотворения! ты везде смягчаешь сердца; тобою пути заросшия тернием претворяются в стези цветущия!» (1809, № 3, с. 441). Благотворение, как и любовь к Отечеству, уравнивает людей различных состояний, ведет к «истинному», «христианскому равенству» (ср.: «Благо-

¹⁰ См.: Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895, с. 186, 244; ср. также с. 177, 187.

творение сближает и соединяет души. Сие равенство, не нарушая порядка, доставляет способ одним благотворить, а другим — любить благодетеля своего» — 1809, № 2, с. 207). Это — вторая величайшая добродетель, которая является для Глинки пробным камнем человеческого достоинства, точнее — это важнейшая составная часть понятия любви к Отечеству, которая, как было показано выше, есть прежде всего любовь к ближним.

Журнал «Русский вестник» можно было бы без преувеличения назвать летописью благотворения. В каждом номере мы встречаем известия о благотворительных поступках людей самых разных сословий, сопровождаемые обычно философско-публицистическими рассуждениями редактора или автора известия о силе и пользе благотворения. Нет художественного произведения, где бы добродетельный герой или героиня в тайне от всех не благотворили бы ближним. Когда речь идет о каком-нибудь русском монархе, непременно отыскивается случай упомянуть о его благотворительной деятельности. Так, царица Наталья Кирилловна своими руками шила одежды и тайно раздавала нищим, а ее послушный и нежный сын Петр I, следуя заветам матери, также тайно раздавал смастеренные им вещи (1809, № 3, с. 480—483). Михаил Феодорович, Алексей Михайлович и др. посещали остроги и выкупали на волю заключенных. Александр I в самом начале своего царствования заявил, что будет покровительствовать всем благотворительным обществам (указ от 16. V 1802 г. — см.: 1812, № 1, с. 92—100) — этот список можно было бы продолжить. Цель этих бесконечных примеров и рассуждений — пробудить в современниках стремление к благотворению, наполнить высоким смыслом их жизнь. «Дай Бог, — говорится в одном письме к издателю «Русского вестника», — чтобы у нас час от часу умножались число ходатаев за бедных и злополучных! Тогда люди недостаточные не будут страшиться нищеты, а богатые — перестанут жаловаться на пустоту сердечную и на скуку, которая постигает их в вихре забав, в недрах роскоши, среди всех отрав неги» (1809, № 4, с. 95).

В связи с этим любопытно отметить и другую сторону взглядов С. Глинки. Вопрос о том, почему существуют «бедные и злополучные», не встает перед ним. Этот факт принимается как часть status quo, установленного Божественным Промыслом и не подлежащего обсуждению. Вмешательство в эту сторону бытия пагубно, как все, что не согласуется с уставами Веры, и свойственно оно лишь «лжеумствованиям» (см. выше, с. 57—58). Зато вопрос, почему богатые проводят жизнь в сердечной пустоте и скуке, очень волнует С. Глинку. Как всегда, в сферах, которые, по его мнению, относятся к человеческой компетенции, редактор «Русского вестника» очень активен и требовате-

лен. Его не радуют нравы и образ жизни современного дворянского общества, не свойственные, как он считает, ни природе человека (назначенного трудиться), ни русскому национальному характеру, ни образу жизни остальных граждан. Глубокую трагедию и опасность видит С. Глинка в том, что «в недрах его <Отечества — Л. К.> возникло общество людей, от всех прочих сословий отличное одеждою, нравами, обычаями, и которое как будто бы составило в России *область иноплеменную*. Кто суть члены сего общества? Большая часть помещиков и богатых людей» (1808, № 4, с. 38). «Новая книга *большаго света*, по сравнению с древностию, представляет особый мир и особых людей, хотя потомки не переменили ни страны ни имени праотцов своих» (1808, № 1, с. 5).¹¹ Причины этого ясны для Глинки: «роскоши», «моды», «новое воспитание», т. е. все то, что он относил к «наносным предубеждениям», к «иноземному влиянию» (см., например: 1809, № 1, 198) и против чего боролся страстно и непримиримо.

Глинка резко осуждает, развенчивает, а иногда и едко высмеивает дворян, живущих по законам «большаго света». В «Русском вестнике» почти нет статьи, где бы не затрагивалась эта тема, специально посвященных ей сочинений тоже много: здесь и публицистика (типа «Модного разговора» — 1811, № 3), и памфлеты (типа «О Бон-Тоне», «О Бомонде» — 1809, № 2). Большая часть «нравоучительных повестей» («Доброй отец», «Добродетель побеждает мечты воображения», «Старой друг лучше новых двух» и мн. др.) построена на этом материале.

Но главный пафос С. Глинки и «Русского вестника» — не в разоблачении и осмеянии, а в демонстрации положительного идеала и положительной программы.

В поисках положительного идеала С. Глинка обращается к русской старине, к русской истории и добродетелям предков.

Здесь необходимо подчеркнуть несколько моментов, связанных, впрочем, между собой. Во-первых, для Глинки важно обращение именно к **прошлому**, поскольку это то, что уже проверено опытом. В этом смысле полезно и необходимо изучение истории всех народов: «Повествуя о древних событиях, История возвещает также и о том, что устраивало благо людей, и от чего происходили вред и упадок обществ. С Историей непосредственно сопряжены *нравственность и политика*. В наше время страсть к политическим известиям сделалась почти общею страстью. Но можно ли заключать без знания Истории

¹¹ Ср.: «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!» и т. д. (А. С. Грибоедов. Загородная поездка. — В кн.: его же. Соч. Л., 1945, с. 380). Ср. также знаменитую реплику Чацкого и эпиграф к «Русскому вестнику», который, кроме того, многократно перефразируется в журнале.

не только о важных, но и о мелочных обстоятельствах? Прошедшее учит судить о настоящем и угадывать будущее. И так для чтения политических известий необходимо надобно иметь хотя поверхностное понятие об Истории» (1809, № 2, с. 346—347).

Однако в другой статье С. Глинка делает важный акцент, который позволяет ему основное внимание уделять все-таки истории **отечественной**: «Чтение Греческой и Римской Истории, и исследование жизней великих Мужей всех стран и всех веков, еще более заставляя нас любить **наше Отечество**» (1809, № 6, с. 286—287; выделено нами — Л. К.). Каждая страна имеет свои, отличные от других, нравы, обычаи, правительства (см.: 1808, № 1, с. 44), поэтому русский найдет то, что сделает его счастливым, именно в своих «отечественных летописях».

Но когда Глинка призывает обращаться к «преданиям праротеческим», для него существенно, что идеальные¹² человеческие взаимоотношения и образ жизни, который он хочет внушить современникам, **существовали** (и отчасти существуют) **в реальности**, что он основывается не на вымысле, не на «романах», а на **действительной жизни**; поэтому-то они и возможны в современности: надо только «припомнить», «возобновить», «возродить» то, что по тем или иным причинам оказалось «забыто» (см.: 1810, № 2, с. 118; 1811, № 7, с. 123; 1810, № 9, с. 104, и т. д.). В этом он видит еще одно принципиальное для него отличие своей системы от взглядов «лжеумствователей»: «Философы осьмагонадесят столетия никогда незаботились о доказательствах: они писали политические, исторические, нравоучительные, метафизические, физические романы; порицали все, опровергали все, обещевали *безпредельное просвещение, неограниченную свободу*: не говоря, что такое то, и другое; не показывая к ним никакого следа; словом, они желали преобразить все *по своему*. Мы увидели, к чему привели сии романы, сии мечты воспаленного и тщеславного воображения! И так замечая нынешние нравы, воспитание, обычаи, *моды* и проч. мы будем противопоставлять им, не вымыслы *романтические*, но нравы и добродетели праотцов наших» (1808, № 1, с. 6).

Описанию добродетелей предков посвящены сотни страниц «Русского вестника». Вкратце можно сказать, что предки лишены всех тех пороков, которые присущи современным дворянам (отправной точкой рассуждений являются, конечно, «нынешние нравы»). Если теперь дворяне следуют «роскошам и модам», преклоняются перед «иноземцами» и забыли обычаи дедов и прадедов, то раньше русские люди не знали ни роскоши, ни мод, были скромны и умеренны, довольствовались

¹² Слово «идеальный» зд. следует понимать не как «абсолютно совершенный», а скорее как «совершенный настолько, насколько это возможно по слабости человеческой».

всем своим, отечественным, почитали своих праотцов и т. д., и т. п. Вот характерное описание «праотческих нравов»: «Взглянем на старца, окруженного сынами, внуками и нередко правнуками: одни из них возвратились от службы государевой, другие к ней готовятся. Он одних спрашивает, других наставляет; у третьяго отбирает отчет в хозяйственных и домашних распоряжениях: хвалит его рачительность, называет жезлом своей старости и подпорою братий своих. Он глава, отец и наставник семьи своей. Между тем матери подносят к нему своих питомцев; они улыбаются, ласкают его; старец вспоминает лета молодости и не чувствует устарелости. Садится ли за сытный стол; все родные, все близкие его сердцу, и гости там не чужие. Хлеб соль, и Русская откровенность сближала сердца и души. Нередко Цари, слагая с себя бремя правительств, приходили отдыхать в сии беседы. Боярин *Артемон Сергеевич Матвеев*, друг Царя *Алексея Михайловича*, принимал и угощал его как друга. В одной из сих бесед Царь узнал Наталью Кириловну; узнал ее добродетели, и питомица Матвеева украсилась Царским венцом» (1808, № 1, с. 33—34). Каждая деталь здесь знаменательна и исполнена для Глинки глубокого смысла. Он не замечает, что нарисованная им картина чисто умозрительна и вполне может быть причислена к «мечтам воспаленнаго воображения». Он чувствует себя вправе рисовать такие картины, ибо они продиктованы любовью к Отечеству и соответствуют, в его представлении, «коренным свойствам» русских людей, «русскому духу», в который он проник, читая русские летописи, знакомясь с «отечественными преданиями», вникая в свойства русского языка и особенно русских пословиц. Без любви к Отечеству невозможно постижение духа нации, а без него, считает Глинка, невозможно ни управление государством (ср.: «главная наука Правителей, то есть: исследования *коренных свойств и духа народнаго*» — 1810, № 10, с. 122), ни историческое исследование, ни вообще какое-либо суждение о стране и народе. Поэтому-то и оказываются столь ложными рассуждения иностранцев о России (см.: 1810, № 3, с. 104—106, и др.), поэтому-то и в научной полемике мнение иностранного историка всегда будет оспорено (см., например, «Догадки и замечания» Глинки на «Нестора» А. Шлецера — 1811, №№ 4, 9, 11 — хотя вообще этому ученому воздается дань признательности и уважения). Наоборот, почти любому суждению русского (конечно, только «истинного сына Отечества»), даже если он жил намного позже или ... до описываемых событий, придается сила исторического документа. Так, говоря о причинах только что закончившейся войны с Турцией и относя их к ненависти и подстрекательствам французов против России, редактор «Русского вестника» пишет: «В неопровержимое сему доказательство, мне бы стоило только переписать целую

Оду Петрова, сочиненную 1775 года на заключение с Оттоманскою Портою мира» (1812, № 9, с. 110—111).¹³

Итак, только русские могут познать русскую историю. Это обстоятельство заставляет Глинку вдвойне сетовать на небрежение к ней россиян. Поэтому он с удвоенной энергией разоблачает «иноземные клеветы» на прошлое России (в основном, о варварстве и невежестве допетровской Руси), боясь, чтобы русские «французоманы» и «англоманы», верящие иностранным авторитетам, не отвернулись бы окончательно от своего Отечества, прочтя о непривлекательности его истории. Вместе с тем, он с радостью приводит положительные отзывы о России «благомыслящих» иностранцев (см. хотя бы отзыв Мерсье о Петре — 1808, № 1, — и т. д.). Основной же упор Глинка делает на показе **преимуществ** России перед другими государствами. Его пламенное желание доказать приоритет всего русского часто выливалось в наивные до комизма утверждения, вызывавшие колкие насмешки современников. В системе его взглядов эта тенденция уравнивалась заявлениями о необходимости уважать и в других народах чувство любви к Отечеству, о пользе изучения чужих языков, обычаев, примерами добродетельных поступков иностранцев. Однако на страницах «Русского вестника» такие рассуждения невольно теряются в потоке похвал родной стране. Редактор, видимо, осознавал это, но его добросовестные попытки поправить положение чаще всего оканчивались восклицаниями типа: «Винуют ли Издатель Р. Вестника, что в простых изъяснениях Матвеева более омысла и истинны, нежели во многих так называемых философических сочинениях Вольтера и подобных ему мудрецов!» (1809, № 5, с. 194). Стремясь к объективности, Глинка приводит и отрицательные примеры из русской истории (ср.: «Священная истинна, и польза общественная, повелевают не только возвещать добродетели предков, но и не скрывать ни неправд, ни злоключений времен прошедших» — 1812, № 2, с. 1). Наибольшее огорчение и порицания вызывают у него периоды «разномыслия» (смутное время, бунты стрельцов), примеры измены Отечеству или нерадения о его благе (сюда он относит и «тиранство» Ивана Грозного), но при этом он всегда проводит параллели с историей других народов, подчер-

¹³ Как это ни покажется парадоксальным при такой логике доказательств, Глинка придает огромное значение документальному свидетельству. «Русский вестник» пестрит ссылками на десятки исторических источников, причем прослеживается даже определенная их иерархия по степени авторитетности. Однако критике источников (Шлецер) Глинка противопоставляет проникновение в дух источника, «нравственное исследование летописей» (1811, № 4, с. 32). Вообще вопрос об отношении Глинки к историческому документу требует отдельного рассмотрения. Сейчас для нас существенно подчеркнуть субъективную важность для него **наличия** исторических документов, доказательств.

кивая, что там больше подобных примеров или последствия их более губельны (см., например; 1808, № 7, и мн. др.).¹⁴

Как мы видели, обращение к русской истории не было для С. Глинки самоцелью. Сколь бы ни привлекали его дела и добродетели предков, его помыслы отданы современникам. Это для их блага он занялся изучением древних преданий и летописей, для их пользы создавал в своем «Русском вестнике» «новую отечественную историю; историю о добродетелях и благотворных заведениях» (1808, № 1, с. 4; см. специальный раздел журнала — «Отечественные ведомости»).

Состояние нравов современного дворянского общества тревожит его, но все же он уверен, что пагубное иноземное влияние «ослабеваает и вскоре совсем исчезнет» (1812, № 2, с. 43). Его оптимизм основан на убеждении, что «чуждые обычаи, сколь бы глубоко ни укоренились, природного овойства Россиян уничтожить не могут» (1809, № 2, с. 235), ибо «коренное и первообразное свойство народов никогда совершенно не истребляется» (1810, № 9, с. 104). Замечательные «коренные добродетели» русских людей (см.: 1810, № 7, с. 14) спасали Россию во времена бедствий и «разномыслия», охраняют ее в настоящем и являются залогом ее процветания и благоденствия в будущем. Однако сколь бы надежны и прочны они ни были, сами по себе они не защитят современных россиян от нравственной гибели. Для исправления нравов и изменения жизни необходимо активно действовать. Уже во «Вступлении» к «Русскому вестнику» С. Глинка повторил изречение Франклина «Бог помогает тем, которые сами себе помогают» (1808, № 1, с. 8) и в своем журнале предложил современникам широкую программу таких действий.

Для того, чтобы освободиться от ига «наносных предубеждений», нужно, в первую очередь, — считал С. Глинка, — заменить «иноземное» воспитание «отечественным»: учитель-иностранец не может дать русскому воспитаннику «истинного воспитания», которое «состоит в преимущественной любви к Отечеству» (1808, № 3, с. 299), поэтому необходимы «русские наставники», «русские пансионеры», а более всего — внимание родителей к воспитанию своих детей («отцы-наставники» и «матери наставницы»). «Отечественное воспитание», «деятельное благотворение», «ревностное исполнение своей должности» — такова программа «Русского вестника», и редактор направляет свои усилия на то, чтобы доказать читателям ее реалистичность,

¹⁴ Детально рассмотреть историческую концепцию С. Глинки в рамках настоящей работы нет возможности. Бесспорно, однако, что специальное исследование представит интерес не только для изучения наследия С. Глинки, но и в рамках более общей проблемы отношения к историческому документу, факту и формированию представлений о русской истории (точнее — образов русской старины) в сознании людей нач. XIX в.

жизненность. Для этого он конструирует в журнале особую идеальную «действительность», якобы существующую и в современности: исходя из сенсуалистско-просветительского убеждения в силе примера, С. Глинка, переводчик Кондильяка, показывает свою программу «в действии».

В «Русском вестнике» носителями модели идеального поведения современного дворянина являются специально созданные персонажи, существующие в журнале на функции реальных живых людей (Артемий Булатов из села Громилова, Герасим Старожилов и др.). Их «соседями» по поместьям оказываются добродетельные герои «нравоучительных повестей» С. Глинки. Конечно, автор сознает условную природу своих персонажей и их «жизни», и тем не менее сконструированная таким образом псевдодействительность для него «реальна» и противопоставит «вымыслам» просветителей: «Уже ли не поверят, что *Булатов* и *Старожилов* соседи мне и *Добросерду*, — пишет в своем «письме» одна из героинь — *Милена*, — и что все добрые их намерения вымысл и мечта?.. *Руссо*, окончив свою *Новую Елоизу*, сказал: «Не ищите лиц, изображенных мною: их нет, они сотворены мною!» К счастью, мне не нужно тщеславиться вымыслом воображения; и уже ли то чудо, что в просторном Отечестве нашем есть уголок земли, где живут несколько человек, из которых одни всегда любили простоту нравов, а другие от затей *моды* и призраков светского счастья обратились к простоте, к *Природе* и подлинному счастью!» (1811, № 9, с. 134—135; кстати, характерно, что этот идеальный «уголок» находится в провинции, которая в «Русском вестнике» неизменно противопоставляется столицам как хранительница чистоты нравов). Как и при обращении к историческому материалу, для С. Глинки реально то, что должно существовать, а не то, что существует или даже существовало. Поэтому мы можем проследить в «Русском вестнике» любопытную переключку сконструированной «реальности» с подлинными факторами современной жизни. К величайшему удовольствию С. Глинки, то или иное предложение Булатова и др. находит иногда подтверждение в «сообщениях с мест» и, наоборот, письма реальных читателей журнала становятся толчком для идей персонажей. Этот своеобразный сплав двух «реальностей» и составляет ту идеальную действительность, которая, будучи предельно конкретной и приближенной к жизненным ситуациям, должна была служить современникам С. Глинки прямым «руководством к действию»: в идеале читатель «Русского вестника» должен был не просто восхититься содержащимися там статьями и повестями, а изменить под их влиянием свою жизнь. Оттого издатель придает такое большое значение не только описаниям целей и результатов действий, но и путям и средствам их достижения. Читатель, решивший воспитывать своих детей по образцу,

намеченному в повести «Здравомысл и Пленира»,¹⁵ найдет в ней детальную программу и даже список наиболее удачных учебных пособий (книги для народных училищ, математический курс Безу и др.). Светская дама, пожелавшая принести истинную пользу окружающим и сделаться повивальной бабкой, отыщет в соответствующей повести указания, где почерпнуть нужные оведения (Амбодик Максимович «Искусство повивальное»), где усовершенствоваться в новом для нее деле (у московского доктора Масса), как устроить «храм родильниц» для своих крестьянок (см.: 1809, № 7), и т. д. и т. п. Таким образом, как мы видим, С. Глинка активно вторгался в сферу частной жизни, стремясь и ее подчинить служению Отечеству и общей пользе.

Требование перейти от слов к делу — пафос, которым проникнут весь «Русский вестник» и вся деятельность С. Н. Глинки. Каждый человек должен действовать (служить ближним), побуждаемый не государственными законами, не внешними обстоятельствами, а законами своей совести. Философы XVIII в., как полагал С. Глинка, только рассуждали об общем благе. Он упрекает своих оппонентов в разрыве между проповедуемыми идеями и личным поведением, сомневаясь даже в искренности их убеждений: «Есть либ сердца их согреваемы были истинным человеколюбием, то вместо умствований <...> для чего к облегчению их <ближних — Л. К.> бедствий не уделяли они хотя малаго участка от роскоши, неги и затей тщеславия? Есть ли же кто из сих умствователей был владелец поместья, то для чего не спешил туда для деятельнаго благотворения?» и т. д. (1811. № 11, с. 130—131). Оставив в стороне вопрос о том, насколько этот упрек справедлив по отношению к просветителям, отметим, что сам С. Глинка всегда старался претворить в жизнь свои убеждения и делом послужить общей пользе. Этот наивный и бескорыстный «Мечтатель» мог с полным правом сказать о себе в конце жизненного пути: «Любовь моя к отечеству не мечтой витала в душе моей. Смотрю на небо, и небо не обличит меня во лжи».¹⁶

* * *

Подведем некоторые итоги. Итак, С. Н. Глинка создал социально-утопическую систему, воплощение которой в жизнь не потребовало бы (и не предполагало) изменения существую-

¹⁵ Повесть эту С. Глинка вполне бы мог назвать «Русским «Эмилем»», ибо она представляет собой применение знаменитого романа Руссо к русской жизни.

¹⁶ Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895, с. 245. «Мечтатель» — один из псевдонимов Глинки.

щего социально-политического строя и, вместе с тем, должно было обеспечить земное (т. е. ограниченное, но единственно возможное в «этом» мире) счастье каждого гражданина Российской державы в отдельности и благоденствие всего Отечества в целом.

Основываясь на принципах иерархии и равенства одновременно, эта система стремилась одухотворить уже существующие человеческие взаимоотношения. Уподобляя все отношения семейным («отец — дети»), т. е. непосредственным, в принципе исключаящим злую волю, эгоизм, основанным на взаимной любви, нравственных законах, Глинка идеализирует то, что предполагает тождество общего и частного блага, вклад каждого в общее дело и не предполагает полного равенства, подразумевая наличие старших и младших и подчинение последних первым ради собственного блага. Семья — это гармония, основанная на взаимном служении.

Такой тип отношений, распространенный на все сферы человеческого бытия, требует от каждой человеческой личности высшего самосознания и активности. Человек — часть целого, которому он подчиняется добровольно и осознанно, в соответствии со своей личной пользой, тождественной с общей. Между частями целого нет равенства, но и без самой малой части целое уже не существует, поэтому каждый человек приобретает большую ценность. Можно сказать, что человек стоит в центре этой системы. Иерархия — средство организации мира, призванное служить благу человека, а не подавлять его, посему человек и не нуждается в ее отмене. Наоборот, укрепляя ее, он укрепляет свое счастье. Достижение гармонии происходит благодаря внутреннему совершенствованию человека, его самоотверженному служению общей пользе. Актуализация идеи «общего» в силу семейного характера социальных отношений отодвигает на второй план иерархию как нечто вспомогательное и выдвигает на первый понятие равенства. Это придает социальным отношениям практически внесоциальный характер. Момент равенства еще более усиливается благодаря признанию владычества над миром Божественного Промысла, уравнивающего всех людей. Подчинение Ему не лишает человеческую личность самостоятельности и в то же время приводит к примирению с несовершенствами земной жизни. Принятие status quo (в самом широком смысле) и построение своей системы, исходя из него, является отличительной чертой модели мира С. Глинки. Ее цель — не разрушение мира, а примирение с ним человека, не построение нового, своего порядка, а прояснение в старом его истинной сущности (внесоциальной, нравственной), т. е. внутреннее его совершенствование. Государство-семья Глинки субъективно противостоит существующей государственно-бюрократической машине. Но оно также противо-

стоит и просветительской модели мира, основанной на необходимости уничтожения старого строя. Система Глинки построена с учетом трагического опыта воплощения этой модели на практике и конструировалась, отталкиваясь от нее. Исторический опыт придает Глинке сознание своей правоты, поэтому он резко критикует предшественников и настойчиво навязывает свою систему в качестве образца.

Система С. Глинки причудливо сочетает в себе черты и даже части самых различных «картин мира»: просветительской, рационалистической (воплощенной в петровской государственности, вернее в ее образе, воспринятом через Ломоносова и Сумарокова), масонской, средневековой (древнерусской), античной (спартанской и римской). Просветительская модель играет, конечно, центральную роль (и не только как отправная точка большинства идей). От нее унаследован пафос уважения к человеку, который пронизывает всю систему.

Эклектичная и противоречивая, модель С. Глинки не случайно является таковой. Она стремится взять лучшее у каждой из предшествующих моделей и «снять» создавшиеся противоречия в некоем высшем единстве (где они покажутся мнимыми). Единство это, как и вся модель, имеет отчетливо выраженную нравственную природу и утверждает господство над миром нравственных законов.

Соприкасаясь разными своими сторонами с другими современными системами (Н. М. Карамзина, А. С. Шишкова, Ф. В. Растопчина и др.), взгляды С. Н. Глинки соотносятся с ними достаточно сложным образом. Не однозначно и их место в перспективе последующего развития русской мысли. При оценке системы С. Н. Глинки необходимо помнить, что от нее тянутся нити не только к пресловутой «теории официальной народности» и писаниям Ф. Булгарина, Н. Греча и т. п., но и к отдельным идеям декабристов, младоархаистов, славянофилов и Гоголя. Речь идет, разумеется, не о влиянии на них С. Н. Глинки, а о том, как на раннем этапе оказалось возможным совмещение разных и потом далеко разошедшихся идей в системе взглядов некрутного, но характерного общественного деятеля.

К ИСТОРИИ СЛАВЯНОФИЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 1840-х — 1850-х ГОДОВ

(Статья третья)

П. С. Рейфман

Как уже отмечалось в предыдущей статье, проблема народности решалась в «Молве» отнюдь не в официальном духе; редакция связывала понятия «народности» и «простого народа», противопоставляя последний правящим классам; она провозглашала право каждой народности на развитие и процветание, не замыкаясь в рамки великорусского шовинизма¹. Все это вызывало недовольство цензуры и приводило к многочисленным столкновениям с цензурными властями.

Но все же, в первую очередь, говоря о народности, славянофилы имели в виду именно русскую народность. Отвергая критику противников, редакция «Молвы» заявляла, что народность для России не менее значима, по крайней мере, чем для других стран; для русского же человека вполне закономерно, не отрицая других народностей, уделять преимущественное внимание своей, наиболее ценить и любить ее, понимать ее существенные особенности. Так в статье «О значении народности» («Смесь» № 24) выражается возмущение теми, кто, признавая народность в других, не признает ее в русских: «всякая национальность в мире хороша и позволительна, не дозволяется же существовать из всех народов мира одним русским» (291). Автор ориентирует читателей главным образом на родное, русское.

В «Молве» постоянно говорится о славе России, о любви к родине. Так в передовой № 17 «Москва, 2 августа» одним из наиболее высоких и похвальных чувств объявляется стремление к народной славе. Такое стремление, по словам автора пере-

¹ В этом было существенное отличие позиции «Молвы» от точки зрения редакции «Русского вестника» и «Московских ведомостей» 1860-х гг., следовавших после польского восстания 1863 г. борьбу со всякими «сепаратизмами» (не только польским, но и украинским, армянским и т. п.) одним из «краеугольных камней» своего направления.

довой, типично для всякого подлинно русского человека, дороже для него собственной, личной славы.

Подобные высказывания иногда перекликались с заявлениями консервативных газет и журналов, но они не противоречили и точке зрения демократических изданий. Следует добавить, что рассуждения о русской народности в газете не связывались с официальным понятием патриотизма, с славословиями русскому правительству, престолу.

Как славная страница недавнего прошлого русского народа рассматривается в «Молве» и Крымская война². В передовой № 18 «Москва, 9 августа» говорилось, что она открыла глаза на многое, указала на подлинных и мнимых друзей России.

Одним из наиболее важных проявлений особенностей русской народности, по мысли редакции «Молвы», является община, которая противопоставляется в газете разъединяющему началу эгоистической личности. В передовой № 2 личное начало объявляется низшим, которое умеряется высшим началом «жизненного союза народного <...> великодушным общинного элемента» (13). Автор статьи вовсе не призывал к отрешению от личности, но, по его мнению, в общине личности не уничтожаются, «но отрекаются лишь от своей исключительности, дабы составить согласное целое» (13).

Община объявляется в статье высшим нравственным идеалом, который лишь в несовершенном виде воплощается на земле, идеалом недосягаемым, полного осуществления которого достичь нельзя, но к которому нужно вечно стремиться. Этот идеал освящен христианством. Таким образом речь здесь не идет о конкретной русской общине, в приукрашивании которой столь часто и не совсем бесосновательно обвиняли славянофилов, а о некоей общине идеальной, воплощающей дух христианского учения в понимании, типичном для славянофилов, перекликающемся в чем-то с идеями христианского социализма. И, тем не менее, не отождествляя русскую общину и общину идеальную, автор статьи утверждал, что «начало общины есть, по преимуществу, начало славянского племени и в особенности русского народа» (13).

Это начало сотрудники «Молвы» связывали с древним русским укладом, со своеобразием народной жизни допетровской России. Так в рецензии В. Н. Лешкова на первый том «Актвов, относящихся до юридического быта древней России», напечатанной в №№ 15—17, община рассматривается как необходимый результат древнерусского общественного быта, основанного на земском элементе, опирающемся на народ и избранном народом. Лешков рассказывал об артелях, «складчинах», о проявлении общинного начала в коллегиальности допетровских судов и т. п. Он утверждал при этом, что подобное устройство

² Аналогичную оценку см., например, в поэме Некрасова «Тишина».

— «не демократия, а полное согласие всех властей в народе» (180). Видимо, сотрудник «Молвы», понимая, что нарисованная им картина старинного административного устройства может восприниматься как пропаганда демократических начал, считал необходимым заранее отвести от себя возможные обвинения.

Взгляд на общинное устройство провозглашается в «Молве» важной частью славянофильских воззрений. В статье А. Хомякова «Современный вопрос» (№ 28), которая является как бы замаскированной передовой, напоминает, что уже 18 лет назад нынешние сотрудники «Русской беседы» пришли к выводу, что славянское племя отличается от других особенностями общинного быта. Этот вывод они повторяли постоянно и верят твердо в него и в настоящее время.

Хомяков упоминает о критике с разных позиций общинного владения. Он отвергает такую критику. По его мнению, путь дробной частной собственности, которая многими противопоставляется общине, приведет лишь к концентрации собственности в немногих руках, к пауперизации крестьянства. Он довольно верно предвидит будущее, появление кулака, обезземливание масс, не понимая, что и община не является выходом, что она расслаивается, что объективный процесс не остановить и путь капитализации деревни неизбежен. Но подобные иллюзии по поводу благотворной роли общины в данном случае определялись не защитой помещичьих интересов, а стремлением предохранить крестьян от обнищания; они разделялись многими идеологами демократического лагеря, начиная с Герцена и кончая народниками.

Всё административное устройство древней России редакция «Молвы» оценивала с позиций соответствия его принципам народности. Так Лешков в упоминаемой выше рецензии полемизировал с теми, кто считал, что в древней России «не существовало личности, что закон и администрация старины были чистым произволом, что там не знали ни права, ни правил» (178). Анализируя материалы «Акт...», Лешков подчеркивал выборность административных органов как характерную деталь старинного уклада. Он с похвалой упоминал, что выборы были открытыми, что в них принимали участие все слои общества, что должностные лица избирались на короткие сроки, что между ними и избирателями существовала нерушимая, кровная связь, что земский элемент имел важное значение, наряду с элементом приказным и государственным. Лешков находил, что такое устройство весьма целесообразно, что оно отнюдь не являлось каким-то хаосом, господством произвола, как утверждают противники славянофилов.

Со стремлением нарисовать административное устройство допетровской России в более радужных красках, опровергнуть его критиков были связаны и статьи на юридические темы,

в изобилии печатавшиеся в «Молве». Уже в «Библиографическом обозрении» № 1 сообщалось, что редакция собирается уделять внимание юридическим проблемам и что со следующего номера будет введен особый отдел с юридическими заметками профессора Московского университета Н. И. Крылова. Во втором номере эти заметки появляются в виде особого приложения. Автор их в довольно резком и докторальном тоне говорит о «варварском нашествии» на ниву юридической науки и обещает «обстреливать неприятельскую партию» из цитадели «Молвы», отмечая одновременно лучшие явления в области юриспруденции. Первый «выстрел» свой Крылов направляет против статьи Б. Н. Чичерина «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей», напечатанной в №№ 4, 5 «Русского вестника» за 1857 г. Тем самым с самого начала «Молва» вступает в полемику, которая велась между «Русским вестником» и «Русской беседой». Эта полемика началась в 1856 г., шла сразу по нескольким линиям и была очень ожесточенной. «Русский вестник» выступал с позиций «западничества», «Русская беседа» старалась доказать несостоятельность «западнической» точки зрения. В «Заметках о журналах» («Современник», 1857, № 4) Чернышевский откликнулся на полемику, далеко не во всем принимая критику «Русским вестником» славянофилов, но и отнюдь не солидаризуясь с последними³. Уже здесь он отметил «докторальный тон» Крылова, хотя и упомянул, что его статья «Критические замечания на сочинения г. Чичерина...» написана с ученостью и умом⁴.

«Юридические заметки» № 2 «Молвы» были выдержаны в том же «докторальном тоне». Запальчивость обвинений Крылова, ощущение своей непогрешимости соединялись в них с весьма специальными и сложными рассуждениями, уводящими в дебри юридической премудрости. Даже вне зависимости от верности или неверности выводов, заметки Крылова не годились для публикации в периодике, не рассчитанной на узкого специалиста.

Полемика с «Русским вестником» продолжалась и в № 3 «Молвы». По поводу статьи «Изобличительные письма» Байбороды (Каткова), напечатанной в № 7 «Русского вестника», в газете Аксакова помещается обращение «От редактора «Молвы» всем бывшим ученикам профессора Крылова», в котором «Изобличительные письма» называются «злостными нападениями», от имени всех учеников заявляется об уважении к Крылову. Редактор, по его словам, сам принадлежит к числу этих учеников, и резкую критику, направленную Байбородой в адрес Крылова, он объясняет неприязнью «Русского вестника» к «Молве».

³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15 тт. Т. IV, М., 1948, с. 722—735. Далее: Чернышевский.

⁴ Там же, с. 731.

В этом же номере, в «Юридических заметках», Крылов сам выступает против Байбороды. В то же время он критикует и Чичерина, который, по утверждению Крылова, «надергав» отдельные факты, стремится на основании их доказать несовершенство древнерусских юридических учреждений. Крылов поучает молодых ученых, что «нельзя безнаказанно, и с каким-то ожесточением, бросаться на историю своего отечества, и особенно в пору его молодости, где формы юридической его жизни слишком мягки, некрепки и даже иногда некрасивы» (с. 37).

В «Библиографии» № 4, в рецензии редактора на разные юридические книги, утверждается, что в России «издревле» существовала терпимость в вере и в законах для иноземцев, что она, при господстве русского элемента, всегда представляла собой «совокупность народов, различных по племени, языку, вере, обычаям и законам» (с. 47). Подобные утверждения отнюдь не соответствовали реальной действительности, но они свидетельствуют о направлении поисков идеального юридического устройства, характерных для славянофилов.

Полемика с Байбородой продолжается в «Юридических заметках» № 46, где идет речь об особенностях римского гражданского права. В защиту Крылова выступает и автор «Письма к редактору «Молвы»», подписанного псевдонимом: «Читатель русских журналов». Спор с «Русским вестником» Крылов ведет и в «Юридических заметках» № 5. О выступлениях Байбороды с осуждением упоминается и в ряде других номеров («Смесь» № 7, «Письмо к редактору «Молвы»» в № 8, «Ответ на прощальное слово г. Байбороды» в № 10 и др.).

С точки зрения защиты допетровской России редакция «Молвы» полемизирует со взглядами историка С. М. Соловьева, который в это время сотрудничал в «Русском вестнике». В № 8 журнала Каткова Соловьев напечатал статью «Шлёцер и антиисторическое направление». По поводу работ немецкого историка, занимавшегося в шестидесятых годах XVIII века изучением русского летописания начального периода, Нестором, ставшего основоположником «критической школы», Соловьев выступил с критикой славянофильских взглядов на историю древней России, хотя и не называл прямо славянофилов по имени. Шлёцер объявляется Соловьевым сторонником исторического направления, которое противопоставляется в статье направлению антиисторическому (т. е. славянофильскому).

Соловьев возражает тем, кто тщетно пытается доказать превосходство допетровской России перед послепетровской, кто видит в общинном быте господствующее явление истории России, особенность древнего ее уклада.

Автор статьи о Шлёцере вовсе не отвергал значимости допетровской русской жизни, но он возражал против отрыва

от нее послепетровской эпохи. Он говорил о необходимости реформ Петра, о том, что без них древнерусское общество, при всех сильных сторонах его, не могло бы развиваться далее, что вступление в семью европейских народов было благотворным и необходимым. Петр, с точки зрения Соловьева, — великий деятель, подлинный выразитель народных интересов, свидетельство того, что русский народ — народ исторический, способный к цивилизации, к прогрессу.

Исходя из подобных представлений, Соловьев провозглашает государственное единство, принцип государственности высшей ступенью развития. Он выражает удивление, что люди, говорящие о любви к России, могут утверждать противное. Славянофильское направление Соловьев называет «отрицательным», обвиняя именно его, а не «западничество» в неприятии русской истории. Потенциально рассуждения Соловьева содержали обвинение в антипатролизме, адресованное славянофилам.

В № 5 «Молвы» напечатаны «Критические письма» за подписью Ярополк (С. П. Шевырев), содержащие ответ Соловьеву. Ярополк критикует последнего как послепетровского историка, идеализирующего его время, несправедливо осуждающего славянофилов. В данном случае взгляды Шевырева, представителя «официальной народности», и редакции «Молвы» во многом совпадали, но не следует забывать, что первый номер «Москвитянина» Погодина и Шевырева открывался программной статьей издателя «Петр Великий», где речь шла о благодеяниях, совершенных Петром для России, о том, что его реформы «были необходимы по естественному ходу вещей» и т. п.⁵ Не отождествляя точку зрения Соловьева и редакции «Москвитянина» на деятельность Петра, следует отметить нечто общее, характерное для их взглядов: приятие петровской государственности, и в этом Соловьев и издатели «Москвитянина» в равной мере отличались от славянофилов. Отличались они, с другой стороны, и от Белинского, который принимал Петра как раз как «отрицателя» всего устарелого и косного.

Наиболее отчетливо мнение редакции «Молвы» о статье Соловьева отразилось в выступлениях К. Аксакова. В № 6 опубликовано за подписью Имрек его «Письмо к редактору» с резкой оценкой деятельности Соловьева, с неприятием тех похвал, которые высказаны в адрес автора статьи о Шлёцере Ярополком (тогда, полемизируя с Соловьевым, хвалил его трудолюбие и даровитость, основательность многих исторических воззрений). Подобная же оценка статьи о Шлёцере высказывается в «Замечании» К. А. (К. Аксакова), опубликованном в «Смеси» № 8. Соловьев становится одним из тех сотрудников «Русского вестника», с которыми наиболее ожесточенно спорит «Молва».

⁵ Погодин М. П. Петр Великий. — «Москвитянин», 1841, № 1, с. 16.

И в числе обвинений, предъявляемых ему, наряду с упреками в идеализации Западной Европы и Петровской эпохи, важное место занимают доказательства того, что Соловьев пренебрегает простым народом. Автор «Замечания» находит, что для Соловьева простой народ, «земледельческое сословие», т. е. крестьянство — средоточие тупости, бессмыслия; оно безусловно привержено к старине, защищает ее, верно охранительным началам, всегда помогает государству в защите таких начал. Знаменательно, что Аксаков обвиняет Соловьева в приписывании народу тех качеств, которые обычно считают принадлежностью славянофильской концепции (охранительные симпатии, любовь к старине). Аксаков же несогласен с тем, чтобы видеть в подобных качествах особенность простых людей, существенные свойства всей древней России.

«Жестоко и несправедливо слово почтенного ученого о земледельческом сословии», — замечает редактор «Молвы». Он не соглашается с Соловьевым, что главное внимание при изучении истории следует обращать на высшие слои общества (князя, дружину), так как дескать и солнце сперва озаряет вершины гор. Аксаков упрекает Соловьева в недооценке «низменностей», в благоговении перед «верхами гор» (94), в забвении того, что солнце христианской истины осветило в первую очередь низы, что апостолами были не «сильные мира сего», а простые рыбаки.

Подчеркивая близость именно крестьян христианским заветам, Аксаков считает, что как раз они, простые люди России ощущают себя не отдельными лицами, сельскими общинами, «но как христианское братство, как русский народ. Для него дорога слава и добро России. Из того, что оно молчит, нельзя заключить, чтобы оно не могло сказать полезного для нас в нравственном и умственном отношении» (94).

Таким образом, идеализация в «Молве» быта древней России была основана на представлении, конечно иллюзорном, о соответствии этого быта интересам простого народа, крестьянства, основам христианства, толкуемым в духе гуманности, народных норм нравственности, противопоставленным жизни правящих классов. Подобная ориентировка на Евангелие, определяемая различными причинами, встречалась и у Достоевского, и у Лескова, и у Толстого.

С идеализацией древнерусского быта связаны и выступления «Молвы», касающиеся «женского вопроса». В газете опубликовано несколько статей о положении женщины в допетровской России. И здесь, в первую очередь, речь шла не о женской покорности, не о необходимости подчиненного положения женщины, а о том, что в древней России, как и в современной жизни простого народа, женщина играла важную роль в семейном и общественном быте, пользовалась большим уважением. В «Биб-

лиографическом обозрении» № 1, с похвалой отзываясь о книге А. Н. Пыпина «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» (СПб., 1857), рецензент выражал несогласие с мнением автора книги о незавидном положении женщины в старинном русском быту (9).

К вопросу о положении женщины газета возвращается в № 2, в статье S «О двух словах летописи (По поводу толков о древней Русской женщине)». Ссылаясь на материалы Львовской летописи, на былины о Василии Буслаеве, автор стремится доказать несостоятельность мнения, что женщины в древней Руси не пользовались влиянием на общественные дела. Пример Новгорода свидетельствует, по его словам, что женщины-вдовы многое определяли в жизни города, играли значительную гражданскую роль.

В «Обозрении современных журналов» № 2, говоря о «Русском вестнике», обозреватель упоминает «дикую статью» Ф. И. Буслаева о «Горе-злосчастьи», считая, что она может принести лишь отрицательную пользу, вызвав возражения. Редакция «Русского вестника» в № 8 назвала эту оценку бездоказательной. В заметке К. А. (К. Аксакова) «Два слова «Русскому вестнику»», напечатанной в № 5 «Молвы», ее редакция обещает вернуться к вопросу о мнениях Буслаева позднее и выполняет свое обещание в рецензии «Два слова о статье г. Буслаева «Древняя русская словесность»». Основные возражения редактора «Молвы» вызваны тем, что Буслаев увидел в древних русских текстах отражение неуважения к женщине, по мнению же Аксакова речь там идет не о женщине вообще, а лишь о «злой жене», что существенно меняет дело.

В «Смеси» № 8 «Молвы» сопоставляются статьи Буслаева и И. Е. Забелина. Автор «Заметок», где дается сопоставление, находит, что обе статьи приводят одинаковый материал. Буслаев говорит о древних французских книгах, Забелин — о русских, и те, и другие книги повествуют о зле, приносимом женщинами. Но выводы статей оказываются совершенно различными. Буслаев утверждает, что в самом преувеличении зла невольно сказывается похвала женщине, признание ее роли. Забелин в подобных же материалах видит свидетельство неуважения к женщине в древней России, осуждает за него предков. А все, по мнению автора «Заметок», определяется тем, о Западе или о России идет речь. То, что хвалится, когда оно происходит в Европе, осуждается, когда дело доходит до России. «Таково-то у нас общечеловеческое направление!» — восклицает автор «Заметок», не соглашаясь ни с отдельными частностями статьи Забелина, и с ее общим выводом об униженном положении женщины в древней России, о тяжелой женской судьбе. Он берет под защиту взгляды на женщину, отразившиеся в древних русских книгах, доказывает правомер-

ность того, что общество «высоко ценило в женщине *покорливость, доброе домоводство* и тому подобные добродетели <...>»

Полемика с «Русским вестником» о положении женщины в древней России продолжается в «Заметке» NN (№ 16), в статье S, опубликованной в «Смеси» № 20 («Еще о древней русской женщине»). Оба автора указывают на односторонность Забелина, на несостоятельность его доказательств. Спор продолжается и в статье А. П. Чебышева-Дмитриева «О свадебных песнях и причитаниях в отношении к вопросу о древней русской женщине» (№ 21). Автор ее в какой-то степени соглашается с теми, кто говорит, что доля древней русской женщины была тяжелой и унижительной. Тем не менее, основной пафос статьи — полемика с односторонностью подобной трактовки. Чебышев-Дмитриев стремится доказать, что грустная тональность свадебных песен объясняется не предчувствием тяжелой судьбы замужней женщины, а горем от разлуки с родной семьей; здесь сказалась «нежность, любовь наших семейных отношений» (247). Песни, с точки зрения автора статьи, отражают важность для русского человека семейного начала. Вновь критикуются выводы Буслаева и Забелина, говорится, что наиболее грязное отношение к женщине характерно как раз для сказок, занесенных с Запада. В целом Чебышев-Дмитриев пытается обосновать мнение, что материалы свадебных песен и причитаний не дают оснований считать положение женщины в древней России особенно тяжелым.

Редакция «Молвы» и далее мимоходом неоднократно возвращается к этому вопросу. Так, например, в «Библиографии» № 37 весьма категорично утверждается: «Ни один народ в мире не ставил так высоко женщины, не придавал ей постоянно таких прав, как народ русский» (417). Знаменательно, что приведенные слова относились не только к положению русской женщины в древней России, но и к ее роли в современной действительности. Не случайно они были высказаны в заметке по поводу статей о воспитании, написанных женщиной. Следует добавить, что мнение о высокой роли женщины в русском обществе было связано с представлениями редакции «Молвы» о жизни внешней и внутренней, о власти и «земле», о государстве и семье и т. п. С такой точки зрения женщина и на самом деле играла в древней русской жизни немаловажную роль. В целом же, идеализируя, как и в других случаях, касающихся допетровской России, положение женщины, славянофилы в какой-то степени были правы, не соглашаясь с теми, кто полностью отрицал общественное и семейное значение женщины в древнерусском быту. И самое главное: славянофилы, даже ошибаясь, вовсе не являлись сторонниками порабощения женщины, полного подчинения ее мужчине; они постоянно говорили

о важности женского влияния, особенно в семейной сфере, о благотворном воспитательном воздействии женщины на молодое поколение, о пользе облагораживающего женского влияния и т. п. Правда, роль женщин ограничивалась вопросами, не касающимися ее политической, социальной (но не общественной) деятельности, однако к этой деятельности редакция «Молвы» и вообще-то относилась не слишком сочувственно.

Такая позиция определяла и оценки творчества женщин-писательниц, как правило, очень положительные. Еще в 1833 г. И. В. Киреевский в письме к А. П. Зонтаг «О русских писательницах» очень похвально отзывался о произведениях женщин-литераторов. Он осуждал читателей и критиков, относящихся к женскому творчеству с предубеждением. По словам Киреевского, литературный талант женщины имеет в себе нечто особенно привлекательное, так как обладательницы его принадлежат к миру изящного всем своим существом, а не только воображением, как бывает обычно у мужчин⁶.

Подобных же мнений придерживалась редакция «Молвы». Выше уже упоминалось о похвальной рецензии «Молвы» («Библиография» № 37) на статью о воспитании, написанную женщиной, что, по мнению рецензента, особенно важно. С № 28 в «Молве» в «Библиографических заметках» печатается «Список русским писательницам», дающий краткие сведения о женщинах-литераторах за сто лет (1759—1857).

Таким образом, славянофилы очень сочувственно относятся к деятельности женщин-писательниц, скорее завышая их роль, как и Белинский, чем недооценивая ее.

Противники славянофилов, отмечая идеализацию последними древнерусской жизни, обычно обвиняли их в стремлении вернуть страну к допетровскому укладу, к старине. Редакция «Молвы» указывала на несостоятельность подобных обвинений. Так в передовой № 6 «Москва, 17 мая» говорилось, что славянофилы хотят идти вперед, а не вернуться назад или стоять на месте: «не может быть и речи о возвращении назад» (74). Автор передовой выражал уверенность, что в желании прогресса, движения вперед славянофилы и их противники не расходятся во мнениях: надо лишь изменить направление движения, вернуться на прежний путь, а не к прежнему состоянию вещей.

Аналогичные взгляды высказаны и в передовой № 7 «Москва, 24 мая». Здесь шла речь о том, что цель желаний славянофилов — вовсе не возвращение к древней России, а свободное развитие самобытных начал. Автор заявлял, что возврат к исконным основам означает не движение назад, а стремление «идти вперед прежним путем» (80).

Аксаков высказывал мнение, что отрыв высших классов от

⁶ Полн. собр. соч. И. В. Киреевского. М., 1861, т. I, с. 117—122.

народа, ветки от ствола, пагубно сказался не только на жизни этих классов, но и на народе: последний не порвал с прежним путем, сохранил самобытность, но остановился в своем движении, в развитии. В итоге получились две односторонние крайности: развитие по безнародному пути и верный путь без развития. Лишь соединение с народом образованности, вернувшейся на верную дорогу, может, по мысли Аксакова, возобновить самобытное движение вперед. Ныне же, по Аксакову, высшие классы движутся по пути подражательному, ложному, народ же застыл в неподвижности.

Нежелание народа принимать новое объявляется редакцией «Молвы» вовсе не свидетельством косности масс, неспособности их к развитию, а результатом того, что предлагаемый им путь враждебен им. Народ, с точки зрения Аксакова, усваивает новое, но не скоро, не легкомысленно, не из огульного презрения к старине и благоговения перед всякой новизною. То, что будет принято народом, то самобытно и прочно войдет в его жизнь. Те, кто считают народ неподвижным и инертным, не понимают его сущности. Он не бессознательная масса. Он имеет глубокие убеждения, которые по своей силе являются стихией, но стихией разумной, имеющей нравственную волю, стихией лишь по цельному составу и дружному действию. Народ не держится слепо обычая, хотя и не легко поддается чужому влиянию, понимая, «что предание, что преемство жизни есть необходимое условие жизни» (передовая № 9, с. 97).

Ориентируясь на простой народ, редакция «Молвы» всячески подчеркивает значение народного искусства, особенностей простонародного быта, проявляя большой интерес к изучению фольклора, к этнографии. В заметке «Литературное известие» (№ 3) сообщается с сочувствием о подготовке собрания песен П. В. Киреевского. Видно, что редакция принимает деятельное участие в этой подготовке. Она просит читателей, у которых сохранились материалы, собранные Киреевским, направлять их В. А. Елагину, готовящему издание.

В передовой № 5, говоря о народности, редакция мельком упоминает о народной песне, особенно глубоко отзывающейся в душе человека того народа, которому она принадлежит.

В № 4 помещена статья «Два вопроса русской исторической науки (Письмо к редактору по поводу издания русских народных песен П. В. Киреевского)», подписанная псевдонимом: Городской читатель Молвы (А. А. Котляревский). Автор благодарит редакцию за сообщение о подготовке песен Киреевского, опубликованное в № 3. Котляревский отмечает огромное значение народных песен, которого, к сожалению, не понимают многие историки. Народные песни, по Котляревскому, необходимы для воссоздания широкой картины народной жизни, для представления о том, как сам народ себя понимает. В памяти

народа, в народных песнях, по словам автора статьи, отразилась героическая эпоха в истории русского народа, то, что не сохранилось в документах, летописях. Такой материал чрезвычайно ценен для историков, но мало используется ими, что Котляревский связывает и с незрелостью русской исторической науки, и с тем, что, кроме собрания «Кириши Данилова», не существует ни одного хорошего сборника народных песен.

Котляревский критикует новые издания фольклорных произведений, в которых тексты подновлены, искажены, изменены. К таким изданиям относит он и «Сказания русского народа» И. П. Сахарова, фальсифицировавшего, как известно, произведения фольклора в духе «официальной народности». Сборник Киреевского, по мнению Котляревского, даст много и специалистам-историкам, и ученым-лингвистам, занимающимся русским языком.

В № 21 помещена статья о свадебных песнях и о причитаниях. В № 27, в статье «О воспитании в духе народности», говорится о важности знакомства детей с русской народной поэзией, со сказками.

Большое внимание в газете уделяется разного рода этнографическим материалам. Уже в № 1 напечатан «Отрывок из очерков помещичьего быта 1800 годов» С. Т. Аксакова, ориентированный в значительной степени на изображение родного быта. В «Библиографии» № 7 с похвалой упоминается о различных изданиях статистического и этнографического характера, о «Сборнике материалов для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии», составленном К. Тихомировым, о «Воронежских актах» и т. п. В № 14 напечатана большая статья Н. С. Толстого «Дух ветлужского народонаселения», продолжающая его этнографические зарисовки, публиковавшиеся в «Московских ведомостях». Автор подробно рассказывал о населении Ветлужского края, об особенностях хозяйства этих лесных мест, о населении, русских и черемисах. Он говорил о разнообразии условий различных районов России, которые накладывают отпечаток на физиономию народа, призывал образованных людей, живущих в провинции, писать о своем крае: «Примитесь описывать населенные края свои, где на каждом шагу есть типы Гоголевские и Аксаковские, на каждой версте найдутся темы для Тургеневых <...> и Щедриных» (с. 163).

В №№ 15—16 помещена статья того же автора «Улучшения, необходимые Ветлужскому краю». Здесь, с позиций помещика-практика, он давал ряд хозяйственных советов. Он предлагал, например, не отпускать крестьян в бурлаки, так как это плохо влияет на их нравственность. Точка зрения автора на изображаемое довольно консервативная, но чувствуется хорошее знание им местных условий.

Знаменательно, что Толстой довольно много говорит о «Семейной хронике» С. Т. Аксакова, об его Куролесове. Он полемизирует с теми, кто не верит в правдивость нарисованной Аксаковым картины. По мнению Толстого, многие люди превращаются в провинциальной глуши в Куролесовых. И лишь развитие просвещения, ощущение ответственности перед обществом, понимание, что за твоими поступками наблюдают со стороны, может удержать большинство от действий, подобных куролесовским. Сторонником такого просвещения, гласности и выступает автор статьи.

В №№ 22, 23 Н. С. Толстой печатает статью «О предрассудках Ветлужского края»; поверия о лесных духах, приводящиеся в ней, по мысли автора, могут служить для уяснения национального характера ветлужского населения. В № 24 он публикует очерки «Тетка Васена» — своеобразное сочетание этнографических зарисовок, хозяйственных советов, размышлений о крестьянском и помещичьем быте и т. п. Материалы, сообщаемые Толстым, становятся все более пространными. В № 24 они составляют большую часть содержания «Молвы» (почти 10 страниц из 14). Заметки Толстого написаны с позиций умеренно-либерального помещика. В частности, автор находит, что, пока не подготовлена почва, не изданы книги для простого народа, правомерно *«не слишком заботиться о его грамотности»* (с. 284. Курсив текста — П. Р.). Такой вывод Толстой мотивирует тем, что, при темноте и предрассудках народа, любой грамотный плут может наделать много вреда.

В духе этнографических очерков выдержана и «Заметка о климатическом и местном влиянии на народонаселение», помещенная Толстым в № 25. В № 27 опубликована заметка «Завитие баб во ржи», подписанная «у» и рассказывающая об одном из крестьянских поверий.

Описанию народного гуляния посвящена неподписанная заметка в № 5 «Первое мая в Сокольниках». О том же речь идет в заметке «Фотография Сокольников» (№ 18), подписанной: Наблюдатель.

На «Записки охотника» Тургенева и на «Записки ружейного охотника» Аксакова были ориентрованы «Охотничьи рассказы» Н. С. Толстого (№№ 18, 20, 21). В одном из них, в частности, рассказывается история о медведе, принятом за важного барина, так как он ревом отвечал на вопрос ефрейтора у заставы: кто и откуда едет? (№ 18, с. 209). Не исключено, что этот рассказ в преломленном виде позднее отразился в стихотворении Некрасова «Генерал Топтыгин», хотя возможно, что и Некрасов и Толстой просто ориентируются на общий «бродячий сюжет». Охотничьи рассказы Толстого, как и многие другие материалы «Молвы», отражали интерес редакции к зарисовкам народного быта.

ЦИТАТНОСТЬ В РОМАНЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО «ПЕТЕРБУРГ»

(Статья 2)

Н. Г. Пустыгина

В первой части нашей работы¹ были рассмотрены основные типы цитат в романе А. Белого «Петербург». В настоящей статье наше внимание сосредоточено главным образом на проблемах «содержательного», мировоззренческого характера, хотя этот, «содержательный», аспект романа не является самостоятельным объектом исследования, он интересует нас постольку, поскольку отражен в цитатах, имеющихся в «Петербурге».

При анализе «содержательной» стороны романа необходимо учитывать следующее:

1. Цитаты мифологические и цитаты из произведений «петербургской» линии русской литературы XIX в. составляют менее «зашифрованный» пласт, чем цитаты из произведений писателей конца XIX — начала XX вв. К тому же, в количественном отношении последние уступают первым.

2. Проблемы, волновавшие А. Белого и его современников, более или менее полно выявляются лишь при «прочтении» групп цитат. Ключом к такому «прочтению» может служить т. н. перецитация, суть которой в следующем: в романе А. Белого цитируется какое-либо произведение, при этом подразумевается знакомство читателя с другими авторами, которые также когда-либо обращались к данному произведению. Трудность интерпретации — в наложении контекстов первоисточника и источников-посредников, число которых может быть 2—3 и более.

3. Каждая выделенная проблема романа должна рассматриваться в контексте всего творчества А. Белого, предшествовавшего написанию «Петербурга». Необходимо это потому, что зачастую ответ на поставленный в романе вопрос можно получить только после обращения к его публицистическим, поэтическим и т. д. произведениям.

¹ См.: Н. Пустыгина. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Статья 1. — Уч. зап. Тартуского ун-та. Труды по русской и славянской филологии. Т. XXVIII. Тарту, 1977, с. 80—97.

4. Следует помнить, что «истории» — «актуализирующему мифу» — присуща важная особенность: все (или почти все) звенья «современного» сюжета романа повторяют, воспроизводят «прамифологический» сюжет или имеют «двойников» в произведениях «петербургской» линии русской литературы. Данная особенность романа служит одним из основных средств его мифологизации и символизации. Введение исторических фактов (например, дело Азефа) не есть работа с «источником» в традиционном смысле. Художественно переработанный материал исторической действительности становится в «Петербурге», как и «чужое слово», полноправным элементом внутренней структуры текста.

5. Соотнесенность с современностью, обилие реалий, автобиографичность, — словом, все, что принадлежит истории начала XX в., «быту», в контексте обильно цитируемых литературных и мифологических источников получает статус цитаты. (Интересно, что А. Белый такие, «бытовые», — например, из своего детского быта — цитаты нередко дает разрядкой или закавычивает², не делая, таким образом, различия между ними и цитатами литературными.)

6. Очень трудно четко разграничить группы цитат, которые раскрывали бы какую-то одну определенную проблему романа, поскольку постоянно происходит тематическое перекрещивание и наслаивание смыслов цитат. Можно лишь наметить основные взаимосвязанные «идейные центры»: а) Восток — Запад, б) Петр I и послепетровская Россия, в) путь к грядущей России, г) художник и общество, д) духовное «мещанство» России начала XX в., е) общественно-литературная борьба и нек. др.

* *
*

В недавно вышедшей книге Л. К. Долгополова «На рубеже веков» (Л., 1977) подробно освещена историческая основа романа «Петербург». Автором данной работы названы прототипы основных его персонажей: Е. Азеф — Липпанченко; Нелювимый — Г. Гершуни, Б. Савинков, И. Калаяев; Аполлон Аполлонович Аблеухов — К. Победоносцев, В. Плеве, С. Витте. Все это, несомненно, верно. Мы обратимся к рассмотрению мелких, на первый взгляд, исторических фактов, которые еще не привлекали внимания исследователей и которые так или иначе связаны с личностью «великого провокатора» — Е. Азефа.

Так, при описании внешности Липпанченко обыгрывается партийная кличка Азефа «Толстый», которая как бы зашиф-

² Сразу отмечим, что одна из функций графики романа (в частности, авторские закавычивание и разрядка) — чаще всего указание на цитату.

рована в фамилии Липпанченко: ср. лат. *lipota* — жировик. Напомним также, что после разоблачения Азеф скрывался под вымышленной фамилией *Липченко*. Кстати сказать, у Азефа было несколько кличек: в охранке он был известен как «Виноградов» и «инженер Азиев», в партии эсеров — как «Толстый», «Плантатор», «Иван Николаевич», «Француз». Многие из названного было превращено А. Белым в «Петербурге» в звуковую игру: «Енфраншиш!» (ср. *en France*) и справа налево — «перс Шишнарфиев» (ср. *Азиев*), а также «француз Шишнарфиев». При этом звуковая игра осложнена каламбурно-цитатной: «-шиш-» — это, по всей вероятности, тоголевское «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом *шишка?*» из «Записок сумасшедшего», сюда же входят и значения «шиш» — «черт» (ср. диал. шишига), «шиши» — «кукиш». Другая историческая деталь, введенная А. Белым в роман, — «бомба», «сардинница ужасного содержания». Дело в том, что после разоблачения Азефа в прессе упоминалось, что Е. Азеф и Г. Гершуни в самом начале их совместной деятельности в партии эсеров перевозили из Швейцарии в Россию нелегальную литературу в банках из-под *сардин* и комнатных ледниках³ (пустые сардинницы разбросаны и в комнате Неуловимого-Гершуни). Убийство Липпанченко-Азефа Неуловимым связывается, безусловно, с расправой над другим провокатором в партии эсеров — Н. Г. Татаровым. Ходили слухи, что Азеф, боясь разоблачения, зверски убил своего сообщника Н. Татарова на его квартире в Варшаве.⁴ На самом деле Азеф, хотя и настаивал на убийстве, сам в нем участия не принимал⁵, в «Петербурге» же имеется упоминание о «провале *T... T...*» (Татарова).⁶ Очень близка к описанию убийства Неуловимым Липпанченко в «Петербурге» сцена расправы над провокатором доктором Бергом в романе В. Ропшина (Б. Савинкова) «То, чего не было». Прототипами доктора Берга в этом романе как раз послужили Азеф и Татаров (ср. намек на *финский нож*, которым был убит доктор Берг, в романе А. Белого: «Нет, знаете ли, — говорит Неуловимый, — пилу — это мне неудобно, пилую... Мне бы, знаете, *финский*, отточенный *ножик*», Пб, VI, 107). Наконец, характеристика деятельности террористов (и в

³ Об этом, например, см.: Ник. Иорданский. Терроризм и провокация. — Современный мир, 1909, № 2.

⁴ См.: М. Л. Мандельштам. 1905 год в политических процессах. Записки защитника. М., 1931.

⁵ Подробнее об этом см.: Провокатор, воспоминания и документы о разоблачении Азефа. Под ред. П. Е. Шеголева. Л., 1929.

⁶ Андрей Белый. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Спб., 1916. Далее в основном тексте — Пб, V, 66: римская цифра обозначает номер главы, арабская — страницу главы, в пагинации А. Белого. Курсив в цитатах (как из произведений А. Белого, так и других авторов), кроме специально оговоренных случаев, — наш, разрядка авторская. (В данном случае курсив А. Белого. — Н. П.)

частности Липпанченко) дается А. Белым сообразно с наиболее популярной версией дела Азефа в начале XX в. Для Азефа было безразлично, на чьей стороне стоять, важен был момент игры, личного героизма, ощущения тайной власти над массами, террорист-индивидуалист Азеф — только игрок, ни в коей мере не знакомый с теоретическими основами революционного движения (по мнению Николая Аполлоновича, одного из главных персонажей «Петербурга», действия террористов заключены в двух крайностях: «техника и вдохновенье творчеством» — Пб, III, 120; ср. также высказывание Неуловимого: «Артикул революции мне не нужен»⁷ — Пб, II, 121).

Сюжетная линия «провокаторства» накладывается на сюжет другого романа о «революционерах» — на сюжет «Бесов» Ф. М. Достоевского. О зависимости образа Неуловимого от персонажей из «Бесов» (Кириллова и Шатова) мы говорили в первой части работы. Провокаторская деятельность Липпанченко (и его двойника Морковина-Воронкова^{7а}) сходна с «революционной» деятельностью «оборотня», «беса» Петра Верховенского. Естественно, что А. Белый не точно воспроизводит сюжетную линию «Бесов», он видоизменяет и ее, и — одновременно — «исторический» сюжет (дело Азефа). В «Петербурге», как и в романе Достоевского, совершается убийство, но убитым оказывается не «отступник» Неуловимый (=Шатов), а провокатор Липпанченко.⁸

Каждый из созданных образов романа носит сложный характер, в каждом из них соединены воедино жертва и преступник, предательство и распятие. Источником такой сложности служит, несомненно, цитатный полигенетизм романа.⁹ В символических противоречивых образах «Петербурга» перед нами предстает вся история послепетровской России.

⁷ «Артикул революции», по-видимому, — цитирование герценовского «алгебра революции». (Ср. в связи с этим неслучайное, как кажется, название Неуловимого Александром Ивановичем.)

^{7а} В этой фамилии сыщика охраны опять-таки «случайно» зашифрован «морок».

⁸ О близости «психологической атмосферы» убийства в «Бесах» с подготовкой покушения на сенатора Аблеухова пишет, например, польский исследователь творчества русских символистов Т. Пожняк (см.: Т. Р о з њ а к. Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich. Wrocław, 1969, s. 151—152).

⁹ «Петербург», в этом смысле, — как бы художественное воплощение теоретических положений А. Белого о природе символа. В одной из своих ранних работ, статье «Окно в будущее» (1904), он дает следующее определение символизму как универсальному методу искусства: «В искусстве мы познаем идеи, возводя образ к символу <...> В искусстве всегда есть нечто соединяющее. Здесь берется момент, когда раздвигаются складки мировой паутины: то, что было внешним, перестает им казаться. Сопоставление предмета или частей его с другим предметом возводит данный предмет в нечто третье. Это третье становится отношением, соединяющим многое в одно, т. е. символом <...> Вот почему в символизме всякое усложнение отношений полнее обнаружит внутреннее, что выступит из-под сложности» (Андрей Белый. Арабески. М., 1911, с. 139).

В качестве примера рассмотрим образ Неуловимого, «полковника революции», вобравшего в себя все противоречия революционного процесса России. Его имя антитетично его деятельности: оно проецируется на имена русских императоров Александра I и Александра II. В первом случае уход Неуловимого в «мистику» связывается с легендой о старце Федоре Кузьмиче, во втором — намек на убийство Александра II народовольцами, непосредственными предшественниками партии эсеров (ср.: «...и вставал на трон — *Николай*; и вставали на трон — *Александр*»; *Александр* же Иваныч, — тень, без усталости одолевала тот же круг, все периоды времени», Пб, VI, 101). (Точно так же имя Аблеухова младшего находится в непосредственной зависимости от имен императоров Николая I и Николая II¹⁰).

Наряду с проекциями героев романа на исторические лица, очень значим в их обрисовке образ Христа. Так, «общее дело»¹¹, обернувшееся провокацией, «распяло» Неуловимого на стене его чердака: «...ведь эта особа <Липпанченко. — *Н. П.*>, превратив меня, Дудкина, в дудкинскую тень, изгнала меня из мира трехмерного, распластав, так сказать, на стене <...> чердака (любимая моя поза во время бессоницы <...> встать у стены да и распластаться, раскинув по обе стороны руки)»¹²

¹⁰ О символике личных имен в романе «Петербург» и о их связи с русской историей см.: Л. Долгополов. Символика личных имен в произведениях Андрея Белого. — В кн.: Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.

¹¹ Слово сочетание «общее дело», ставшее «общим местом» в народнической публицистике, — в то же время и заглавие парижского органа партии эсеров. Здесь, в частности, публиковались материалы по делу Азефа (например, «Разговор с Лопухиным» В. Л. Бурцева). Ср. в связи с этим каламбурный намек на приговор к смертной казни, вынесенный Азефу эсерами: «Общее дело-то ведь и выключило меня <Неуловимого. — *Н. П.*> из списка живых» (Пб, II, 114).

¹² Близость пространственных характеристик в «Преступлении и наказании» и «Петербурге» отмечена В. Н. Топоровым, который считает, что и в том, и в другом случае «узость» пространства имеет значение «ужаса» (см.: В. Н. Топоров. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления. (*Преступление и наказание*). — In: Structure of texts and semiotics of culture. Mouton, The Hague—Paris, 1973, p. 281—282).

Отметим, что, помимо «Преступления и наказания», здесь важны также «Бесы» и статья А. Блока «Безвременье» (1906). «Поза» Александра Ивановича Дудкина повторяет во многом состояние Кириллова перед самоубийством: «С правой стороны этого шкафа, в углу <...> стоял Кириллов, и стоял ужасно страшно, — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 10. Л., 1974, с. 475). В статье А. Блока, явившейся «ответом» на статью А. Белого «Луг зеленый» (1905), говорится о «бродягах», которых «голос вьюги» вывел из «паучьих жилищ» «мертвого города» и которые «точно распяты у стен» и «заборов»; им предстает тяжкий «каменный путь» <т. е. путь на Голгофу. — *Н. П.*> по бескрайним равнинам России» (А. Блок. Собр. соч. в 2 тт. Т. 2. М., 1955, с. 31—33).

(Пб, II, 130). Ср. о Николае Аполлоновиче: «Вот — светом стоящие волосы: облеченный в ярость огней с искрою пригвожденными в воздухе широко раскинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями — ладонями: которые проткнуты, — крестовидно — раскинутый Николай Аполлонович» (Пб, VII, 205).

Включение Христа в число прототипов обоих центральных героев «Петербурга» объяснимо контекстом статьи А. Белого «Священные цвета» (1903). В ней же подробно раскрывается символика столь важного для романа красного цвета: «Относительность, призрачность красного цвета — своего рода теософское открытие. Здесь враг открывается в последней своей нам доступной сущности — в пламенно-красном зареве адского огня <...> Это — Мареве».¹³ По мысли А. Белого, только «воля» каждого из нас может развеять это «красное мареве»: чтобы не сгореть, нужно «собственной кровию погасить пожар, превратив его в багряницу страдания».¹⁴ Такой подвиг был совершен Христом: «Нужно было воплотиться Христу в средоточие борьбы и ужаса, сойти в ад, в красное, чтобы, преодолев борьбу, оставить путь для всех свободным».¹⁵ В этом и заключена, по мнению А. Белого, «двойственность» красного цвета — «в красном цвете сосредоточены ужас огня и тернии страданий».¹⁶

В соединении таких взаимопротиворечащих понятий, как христианство и терроризм, прослеживается заметное влияние идей Фр. Ницше и Д. С. Мережковского.¹⁷ Концепция «неохристианства» была сформулирована Мережковским в конце 1890-х гг. Отправной точкой в построениях Мережковского, как известно, послужили идеи Ницше, носившие, однако, сугубо антихристианский характер. Для последнего — «анархист и христианин одного происхождения»¹⁸, только Христа он считает единственным настоящим христианином называя его «политическим преступником» и «святым анархистом». «Nihilist und Christ», — пишет он, — это рифмуется, и не только рифмуется».¹⁹ Характеристика «Nihilist und Christ» вполне соответствует сущности революционного движения, изображенного в «Петербурге». Д. С. Мережковский в 1907—1908 гг., в эпоху наступившей политической реакции, встает на сторону рево-

¹³ Андрей Белый. Арабески, с. 120.

¹⁴ Там же, с. 120—121.

¹⁵ Там же, с. 121.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Можно полагать также, что А. Белый знал и о попытках Герцена, Бакунина и Нечаева использовать сектантские движения в революционных целях.

¹⁸ Фр. Ницше. Антихристианин. Опыт критики христианства. Спб., 1907, с. 85.

¹⁹ Там же, с. 33 и 88.

люции, хотя интерпретирует исторические события со своей, «неохристианской», точки зрения, считая политическую и социальную революцию только «прологом» к революции «всеобщей», «религиозной».²⁰ А. Белый иронически излагает концепцию Мережковского таким образом: «Наконец он <Неуловимый. — Н. П.> пытался ее <особу» — Липпанченко. — Н. П.> поразить своим мистическим *сгедо*, утверждением, что *Общественность, Революция* — не категории разума, а *божественные Ипостаси вселенной*» (Пб, V, 56). Вопросы реформации официальной церкви посвящена книга статей Мережковского «Не мир, но меч» (Спб., 1908). А. Белый, в целом довольно высоко оценивая публицистическое творчество Мережковского 1900-х гг., холодно отнесся к этой книге²¹, о чем можно судить по тому ироническому контексту, в котором процитировано в «Петербурге» заглавие книги «Не мир, но меч»: «Николай Аполлонович, занимаясь *методикой социальных явлений, мир обрекал огню и мечу*» (Пб, II, 103). Проследившая историю «русских бунтов» (в частности сектантских), Д. С. Мережковский приходит к выводу, что им всегда было присуще «сочетание *Апокалипсиса с революцией*» и что «религиозно-революционный максимализм русской интеллигенции уходит корнями своими в глубину стихии народной».²² А. Белый ко времени создания «Петербурга» уже явно отходит от своего недолгого увлечения сектантским «неохристианством», что подтверждает, например, финал повести «Серебряный голубь». Понятно поэтому, что идущая от «Серебряного голубя» фамилия Дарьяльского, упоминающаяся в «Петербурге», является только пародийным фоном для восприятия одной из «ипостасей» Неуловимого (в прошлом Дарьяльского). Это, вопреки. Во-вторых, более существенной представляется генетическая и духовная преемственность образов Неуловимого и Петра Дарьяльского, которая возвращает нас к родоначальнику двух «великих расколов» (ортодоксальное православие — сектанство, старообрядчество; интеллигенция — народ) — Петру I. Отсюда глубже раскрывается «конец» Неуловимого (*Петра Дарьяльского/Петра I*) — символ «шатания» (если воспользоваться выражением Ф. М. Достоевского) русской истории: сумасшедший Александр Иванович Дудкин воображает себя императором Петром Великим.

Таким образом, сказанное выше подтверждает, что повесть «Серебряный голубь» и роман «Петербург» действительно яв-

²⁰ См.: Д. С. Мережковский. В тихом омуте. Спб., 1908, с. 134 (статья «Красная шапочка»).

²¹ Рецензию на книгу статей Мережковского «Не щит, но меч» А. Белого см. в статьях «Арабесок», объединенных в отдельный цикл под общим названием «Мережковский».

²² Д. С. Мережковский. В тихом омуте, с. 134—135.

ляются частями задуманной А. Белым трилогии «Восток или Запад»: идущий к народу, связанный с народными движениями Петр Дарьяльский как бы «продолжается» в Неуловимом (и отчасти в Николае Аполлоновиче). Однако историческое развитие России зашло в тупик, крахом заканчивается и «дело», и «путь» (ср. первоначальное название «Петербург» — «Путники») героев романа А. Белого.

* * *

Думается, что сам замысел именно «трилогии» «Восток или Запад» восходит во многом (наряду с ориентацией на Гоголя) к трилогии Мережковского «Христос и Антихрист».²³ При этом герои «Петербурга» вобрали в себя некоторые черты героев третьей части трилогии Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» (Неуловимый, Николай Аполлонович — Тихон, царевич Алексей), и, что самое важное, А. Белый солидаризуется в некоторых моментах с Мережковским в оценке личности и деятельности Петра I. Приведем для подтверждения нашего предположения несколько примеров. В «Петербурге»

²³ Об этом свидетельствует, например, подробный анализ «Христа и Антихриста» в «Луге зеленом». А. Белый считает, что для Мережковского история давно мертва, а те исторические лица, которых он изображает, «вовсе его не интересуют» сами по себе, они важны «только как символы» (Андрей Белый. Луг зеленый. Книга статей. М., 1910, с. 144; статья «Мережковский» 1907 г.).

Герои «Петербурга», как и герои трилогии Мережковского, — тоже символы, в которых воедино слиты мифология, история, современность. Однако, при всей очевидной ориентации на «Христа и Антихриста», символизация образов «Петербурга» носит более сложный характер: в отличие от «вечных» образов-символов в романах Мережковского, которые все же исторически «закреплены», обладают своим, историческим, обликом (Юлиан Отступник, Леонардо, Петр I), герои романа А. Белого исторически «открыты», соотносимы с любым моментом как русской, так и мировой истории, хотя и действуют в 1905 г.

При рассмотрении композиционного построения романов трилогии Мережковского А. Белый приходит к следующим выводам: Мережковский, по его мнению, «1) располагает группы своих образов так, чтобы конфигурация групп одной части «Трилогии» соответствовала в целом конфигурации групп смежной части. 2) Дает несколько образов (иногда предметов), которые пройдут сквозь все части <...> 3) В одной части «Трилогии» он переставляет свои группы справа налево, в другой — одновременно — <...> и слева направо, и справа налево». Соответственно организации на композиционном уровне, Мережковский, отмечает далее А. Белый, «слегка меняет конфигурацию цитат и своих комментариев в форме рассуждений к этим цитатам» (Андрей Белый. Луг зеленый, с. 144).

Таким образом, ориентация А. Белого на поэтику романов Мережковского прослеживается в следующем: 1) мифологизация истории, 2) цитирование как художественный принцип, когда цитата выступает «представителем» культуры определенной эпохи, 3) создание «сквозных» образов (типа Дарьяльский — Неуловимый).

появляется «тот же самый» Петр I, что и в «Петре и Алексее» — «сорокапятiletний моряк, одетый в черную кожу (и как будто — голландец)» (Пб, V, 158); ср. в «Антихристе»: «Однажды на Троицкой площади у «кофейного дома» Четырех Фрегатов, встретил он <Тихон. — Н. П.> человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера».²⁴ Вся упомянутая сцена явления Петра происходит в кабаке, где разговаривают Николай Аблеухов и сыщик охранки Морковин-Воронков. Точкой соприкосновения А. Белого и Д. С. Мережковского оказывается Достоевский. Разговор Николая Аполлоновича и сыщика Морковина-Воронкова — ситуационная цитата из «Преступления и наказания» (диалог Раскольников и Порфирия Петровича), заметно также влияние эпизода из «Братьев Карамазовых» Иван Карамазов — Смердяков: ср. намек Морковина на «нашего общего родителя» (Пб, V, 163). Естественно, этот намек имеет и более глубокий смысл. Речь, конечно же, идет об «общем родителе» «всяческой провокации» (бюрократизации России, терроризма, провокаторства, раскола и т. д.)²⁵ — Петре I. Показателен в связи с этим следующий диалог Аблеухова-младшего и сыщика Морковина: «Так почему же мы — братья?» — «По убеждению...» <...> — «Вы — убежденный террорист...» <...> — «Террорист завзятый и я...» (Пб, V, 164—165).

Случайное совпадение «сцен в трактирах» как у А. Белого, так и у Мережковского с эпизодами из романов Достоевского исключено. Упоминания о «кабаках» Достоевского имеются во многих статьях А. Белого: ср. «Грязненькие трактиры» «встречаются во всех романах Достоевского»²⁶ (статья «Священные цвета»); «герои Достоевского — трактирные болтуны, с незастегнутой, замаранной душой»²⁷ («Ибсен и Достоевский», 1905); «слова наши — пьянство. И часто мы в кабаке и кабак всегда с нами»²⁸ («О пьянстве словесном», 1908) и др. Наконец, наиболее развернутую трактовку «сцен в кабаках» Достоевского мы находим в работе А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой»: «... в грязненьких трактирчиках, среди убийц, сумасшедших и проституток начинают разворачиваться пророческие сцены, напоминающие Апокалипсис».²⁹ Приведем для сравнения совершенно аналогичные

²⁴ Д. С. Мережковский. Христос и Антихрист. Трилогия. Т. III. Антихрист (Петр и Алексей). Спб., изд. 2-е, 1906, с. 85.

²⁵ О «темном дыме всяческой провокации» А. Белый пишет в «Трагедии творчества. Достоевский и Толстой» (М., 1910, с. 8).

²⁶ Андрей Белый. Арабески, с. 119.

²⁷ Там же, с. 97.

²⁸ Там же, с. 361.

²⁹ Андрей Белый. Трагедия творчества..., с. 20. (Ср. также ироническое и полемическое по отношению к т. н. «мистическим анархистам» упоминание о «дряньных трактирчиках» для изучения «апокалиптической

мысли Д. С. Мережковского: «Точно такие же *грязенькие трактиры* — «клоаки» — следы петербургской Европы <...> встречаются во всех романах Достоевского <...> Именно пошлость этой «европейской», лакейской, *смердяковской обстановки* <...> придает беседам <...> грозный и зловецкий <...> апокалипсический отблеск».³⁰

А. Белый цитирует еще один эпизод из «Петра и Алексея» Мережковского. Он переносит в свой роман самую напряженную сцену разговора Петра с Алексеем: «Аполлон Аполлонович уронил карандашик <...> Николай Аполлонович, следуя стародавнему навыку, *бросился почитительно его поднимать* <...> движений своих Николай Аполлонович не рассчитал, неожиданно прикоснувшись к шее <...> Аполлон Аполлонович повернулся и увидел тот самый взгляд» (Пб, V, 178); ср. в «Антихристе»: «Платок нечаянно выпал из рук его; он <Петр. — Н. П.> хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, *бросился, поднял, подал*».³¹

Многое прояснит в оценке А. Белым петровских свершений и личности Петра его рецензия на книгу Д. С. Мережковского «Петр и Алексей». Мережковский, по мнению А. Белого, «гениально сорвал с Петра маску»³², вскрыл его *двойственность*. Петр в «Антихристе» выступает одновременно и как создатель государственности, и как ее разрушитель: он, в сущности, — «анархист», прикрывающийся «маской государственности». «Оба (Петр и Алексей), — пишет А. Белый, — анархисты. Оба разят государство с обеих сторон».³³ Образ Петра, как его интерпретирует в рецензии А. Белый, трагичен, противоречив и в этом близок героям Достоевского — Версилкову, Раскольникову, Ставрогину, Кириллову.³⁴ Думается, что и в «Петербурге» отношение А. Белого к Петру сложно, это не простое отрицание.

«Петербург» — роман, выросший во многом из статьи А. Белого «Город» (1907), которая насыщена образами и идеями

мертвенности жизни в статье А. Белого «О проповедниках, гастрономах, мистических анархистах и т. д.» — Золотое руно, 1907, № 1, с. 63.)

При цитировании сюжетных ходов из произведений Достоевского в романе А. Белого как бы воспроизводится и стиль цитируемого источника. Сознательно-игрового цитирования стиля в «Петербурге» не понял, например, Н. Бердяев. Он ставит в вину А. Белому, что последний «местами слишком следует за Достоевским, находится в слишком большой зависимости от «Бесов», а иногда *прямо копирует некоторые сцены* и «сбивается на другой, не свой стиль, нарушает ритм своего романа» (Ник. Бердяев. Астральный роман. (Размышления по поводу романа А. Белого «Петербург»). — В кн.: его же. Кризис искусства. М., 1918, с. 43).

³⁰ Д. С. Мережковский. Пророк русской революции. Спб., 1906, с. 85.

³¹ Д. С. Мережковский. Христос и Антихрист, т. III, с. 243.

³² Андрей Белый. Арабески, с. 428.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

из произведений Достоевского, поэтому может показаться, что апокалиптическое видение послепетровской России Достоевским и автором «Петербурга» тождественно. Но это не совсем так. В «Петербурге» — в очень скрытой форме — содержится полемика с мыслями Достоевского, проводимыми им в статьях «Дневника писателя». В одной из них, «Маленькие картинки», написанной в жанре фельетона 1840-х гг., Достоевский приводит свои размышления об архитектуре Петербурга, в которых четко сформулировано отношение Достоевского к реформам Петра I: «... архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна <...> именно тем, что выражает всю его *бесхарактерность и безличность за все время существования*, <...> в ней отражается *вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода*, с самого начала до его конца <...> Характерного в *положительном смысле, своего собственного*, в нем <...> — *деревянные, жилые домишки*».³⁵ Как представляется, само введение в «Петербург» самостеятельно живущего и действующего города произошло не без влияния идей Достоевского (и — что бесспорно — Гоголя^{35а}). Однако А. Белый, в отличие от Достоевского, не считает, что вина за все последующее развитие России лежит на одном Петре I. Приведем строки из «Петербурга», которые, по нашему мнению, ориентированы на приведенные выше мысли Достоевского: «... бредя от *подъезда к подъезду, переживаешь века*» (Пб, I, 72); «Прочие русские города представляют собой *деревянную кучу домишек*. И разительно от них всех отличается Петербург <...> Если же Петербург не столица, — то *нет Петербурга*. Эта только кажется, что он *существует*» (Пб, Пролог, 4) и: «От петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось; *линия Петра превратилась в линию* позднейшей эпохи: в екатерининскую округленную линию: в александровский строй белокаменных колонад» (Пб, I, 24).

А. Белый в центр своего романа ставит пушкинского Петра — «Медного Всадника», что, скорее всего, должно означать принятие всех «за» и «против» в петровских свершениях, но никак не отрицание в славянофильско-«почвенническом» духе: «... плавилась литая губа и дрожала *двусмысленно*, потому что *сызнова теперь повторились судьбы Евгения*; так прошедший век повторился — теперь» — Пб, V, 101 (ср. также: «... зыбкая полутьма покрывала Всадниково лицо; и металл лица *двусмысленно улыбался*» — Пб, V, 171).

³⁵ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Т. 9, ч. II. Критические статьи. Дневник писателя за 1873 год. Политические статьи. Спб., 1895, с. 305.

^{35а} Мы имеем в виду гоголевский прием персонификации, столь усиленно повторенный в «Петербурге»; важен здесь также «Рим» Гоголя.

* * *

В переплетении реальности, мифологии, литературы создаются А. Белым и другие персонажи «Петербурга». При создании образа сенатора Аблеухова А. Белый «дополнил» Плева, Победоносцева, Витте чертами Кареннина, Федора Карамазова и чертами своего отца Н. Бугаева; в то же время образ Аполлона Аполлоновича имеет мифологические и астрологические проекции — *Сатурн, Плутон, Скорпион, Аполлон*.

О цитатах из своего детского быта А. Белый говорит в мемуарах «На рубеже двух столетий», указывая на ряд мелких бытовых деталей, включенных им в «Петербург», а также на использование «словотворчества» Н. Бугаева в стиливой ткани романа.³⁶ К личности К. Победоносцева отсылает такой эпизод романа: Аполлон Аполлонович читает стихотворение Пушкина, довольно странно звучащее в его устах, — «И мнится — *очередь за мной, / Зовет меня мой Дельвиг милый...*» (Пб, II, 38). Несколькими строками ниже в памяти сенатора всплывает имя «*Вячеслава Константиновича*». Речь, конечно же, идет о личном друге Победоносцева, министре внутренних дел В. К. Плеве, убитом террористом Е. Сазоновым в 1904 г. (в подготовке террористической акции принимали участие Азеф, Гершуни, Савинков). Дальнейшая фраза романа: «*Очередь — очередь: по очереди...*» (Пб, II, 38) — намек на готовившееся после убийства двух министров внутренних дел (Плеве и Сипягина) покушение на Победоносцева, которое должно было произойти на похоронах Сипягина.

Назовем еще одну отсылку к личности Победоносцева как одного из прототипов образа сенатора Аблеухова. Последний пишет «Дневник», «долженствующий появиться в год его смерти в *повременных изданиях*» (Пб, I, 8): в данном случае А. Белый имеет в виду публикацию юношеского дневника и других материалов биографии Победоносцева в «Русском архиве».³⁷

Несомненно близко изображение Аполлона Аполлоновича характеристике К. Победоносцева в книге А. Амфитеатрова и

³⁶ Ср., например, любимое отцовское выражение «*так сказать*», «ввернутое» А. Белым в роман: «Посетители Софьи Петровны как-то сами собой распались на две категории: на категорию светских гостей и на гостей *так сказать*» (Пб, II, 84). Здесь, к тому же, «быт» соседствует с Гоголем: о выражении «*так сказать*» как наиболее употребимом Гоголем А. Белый подробно пишет в статье «Гоголь» (см.: Андрей Белый. Луг зеленый, с. 99). «Стиль» Н. Бугаева А. Белый характеризует следующим образом: «Стиль каламбуров — Лесков, доведенный до бреда, до... декадентства; иними из них я воспользовался, как художник, ввернув их в «Симфонию» и в «Петербург» (Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М.—Л., 1931, с. 39).

³⁷ См.: П.<егр> Б.<артенев>. К. П. П.<обедоносцев>. Его некролог с выдержками из его дневника. — Русский архив, 1907, № 4, с. 635—653; в № 5 за этот же год опубликованы письма и речи Победоносцева.

Е. Аничкова «Победоносцев» (Пб., 1907). В частности, в ней рассказывалось моравское поверье о «вампире», который, принимая форму «тумана», проникает в человека и начинает сосать из него кровь. «Инфернальная» сущность сенатора в полной мере раскрывается в таких его характеристиках, как «нетопырь», «вампир», «летучая мышь». А Белый развертывает сравнение Аполлона Аполлоновича с «вампиром» в следующей контаминированной цитате: «*Аполлон Аполлонович Аблеухов — человек городской и вполне благовоспитанный господин: сидит у себя в кабинете в то время, как тень его, проникая камень стены... бросается в полях на прохожих*; посвистом молодецким, разбойным она гуляет в пространствах <...> раздувает в овине подозрительный огонек; деревенский красный петух — от нее зарождается, ключевой самородный колодезь — от нее засоряется; как падет на посев вредноносными росами, — от нее худеет посев, скот гноит. Умножает и роет овраги» (Пб, VII, 147). С народными представлениями о «колдуне» здесь соединены гоголевская «Шинель» («*бросается в полях на прохожих*»), древний миф о боге Аполлоне (могущем символизировать и плодородие, и мор) и статьи А. Белого «Апокалипсис в русской поэзии» (1905) и «Настоящее и будущее русской литературы» (1907). В имени сенатора присутствуют оба указанные значения бога Аполлона и — как наиболее известное — значение «меры», «гармонии», «порядка», последнее — с ироническим оттенком «порядка бюрократического» (ср.: «... переменялась история; в древние мифы не верят; Аполлон Аполлонович — вовсе не бог Аполлон: он <...> петербургский чиновник», Пб, VII, 148). В статье «Апокалипсис в русской поэзии» Андрей Белый рассказывает об ужасах русско-японской войны и событиях первой русской революции, которые представляются ему симптомами наступления «*Конца Всемирной Истории*»³⁸: «...извне <с Востока. — Н. П.> налетающий дракон, — пишет он, — соединится с красным петухом»³⁹ (ср. идею «врага с востока» Вл. Соловьева). В другой из названных выше статей «*овраги*» и «*пространства*» России интерпретируются А. Белым как «бесовские» места. В данном случае обращение А. Белого к русскому фольклору опосредовано его интересом к творчеству Некрасова (ср. цикл стихотворений 1908 г. «Пепел», посвященный Некрасову).

Безусловно, образ сенатора Аблеухова занимает центральное место в апокалиптической концепции романа, вокруг него сконцентрированы наиболее характерные цитаты, раскрывающие отношение А. Белого к трагической эпохе начала XX в.

³⁸ «Конец всемирной истории» — название цикла лекций Вл. Соловьева, которые А. Белый слушал в 1900 г.

³⁹ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 227.

Одной из наиболее значимых является цитата из Апокалипсиса: «...ежедневно со стенами он <Аполлон Аполлонович. — Н. П.> кидался в карету цвета вороньего крыла; в пальтеце цвета вороньего крыла, и в цилиндре — цвета вороного крыла; два вороногривых коня бледного уносили Плутона» (Пб, VII, 149). (Ср. «Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей <...> И взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть <...> умервщлять мечем и голодом, и мором», Откр. св. Иоанна, гл. 6.) Игровой перестановкой синтаксической конструкции А. Белый соединяет символы апокалиптических коней («конь вороной» и «конь бледный») в один — «два вороногривых коня бледного» (хотя, конечно, прилагательное «бледного» формально отнесено к Плутону).⁴⁰ Прочитанное выше место из «Петербурга» имеет лексический «скреп» с цитатой из «Шинели» Гоголя (см. выше, с. 98), которым являются глаголы «кидался» — «бросался». Важно здесь и другое: в цитате из Апокалипсиса содержатся литературные наслоения — роман В. Ропшина «Конь бледный», стихотворение В. Брюсова «Конь блед» и книга Н. А. Морозова «Откровение в грозе и буре». Значение двух первых из названных произведений в идейной структуре романа «Петербург» раскрыто Л. К. Долгополовым.⁴¹ Остановимся на книге Н. А. Морозова.

Обращение к книге Н. А. Морозова обусловлено интересом к проблемам эсхатологии, появившимся у А. Белого уже в самом начале 900-х годов. В своих мемуарах «Начало века» он перечисляет тех авторов, произведения которых или их личное поведение связывались в его сознании с апокалиптическими идеями: это — Д. С. Мережковский, А. Добролюбов, В. Розанов, Вл. Соловьев, А. Блок, Л. А. Тихомиров, Ньютон, Сведенборг, Н. Морозов и др.⁴² Работа Н. Морозова «Откровение в грозе и буре. История возникновения апокалипсиса» (Спб., 1907) представляла собой оригинальный перевод Откровения

⁴⁰ В другом месте «Петербурга» кони сенатора — «серые в яблоках кони» (Пб, I, 17).

⁴¹ См. Л. К. Долгополов. На рубеже веков (глава «Литературные и исторические источники романа Андрея Белого «Петербург»).

⁴² См. об этом: Андрей Белый. Начало века. М.—Л., 1933, с. 138—139. В связи с упоминанием фамилии Л. А. Тихомирова интересно проследить, как материал действительности преломлялся сквозь призму авторской иронии. Л. А. Тихомиров — личность противоречивая: «народоволец — вчера, черносопник — нынче», по меткому определению А. Белого, он занимался толкованием Откровения св. Иоанна только «для спесев». «Я слушал его, — вспоминает А. Белый, — потом — в голове моей заработал уже план: какие краски применить к нему, когда буду описывать его в моей замышляемой «Симфонии». Сделать ли его редактором апокалиптического журнала «Патмос» или заставить его, двуперстно сложив ему пальцы, взойти на костер?» (Андрей Белый. Начало века, с. 140).

св. Иоанна с комментариями автора. Н. Морозов предположил, что текст Апокалипсиса — не что иное, как символическое описание расположения небесных тел, наблюдавшегося Иоанном во время сильнейшего землетрясения и бури на о. Патмос. В частности, апокалиптические всадники объяснялись им как вхождение планет Сатурн и Плутон в созвездие Скорпиона (что, по представлениям древних, предвещало гибель). Приведем строки из перевода Н. Морозова, описывающие этот момент: «Я взглянул (на открывшееся от облаков новое место зодиакальной полосы), и вот там находился *мертвенно-бледный конь (зловещая планета Сатурн)*, а поднимающемуся на него имя *Смерть (Скорпион)*, и подземное царство *Плутона* следовало за ним».⁴³

В «Петербурге» имеется еще одна цитата из книги Н. А. Морозова «Откровение в грозе и буре». Начало действия своего романа А. Белый «датирует»: «*Был последний день сентября*» (Пб, I, 22). «30 сентября 395 года»⁴⁴ — установленная Н. Морозовым путем астрономических вычислений дата создания Апокалипсиса. После упоминания этой «точной» даты время в романе становится неопределенным, чаще же всего речь идет о «*туманных октябрьских денечках*». Последнее — контаминированная цитата. Здесь А. Белый снова обращается к идеям своей статьи 1905 г. «Апокалипсис в русской поэзии», в которой ставились вопросы гибели современной культуры, цивилизации, грядущих судеб России. Россия сравнивается со «спящей царевной» и гоголевской Катериной из «Страшной мести», околдованной страшным стариком (эта метафора присутствует и в других статьях книги «Луг зеленый»; циклизация в данном случае осуществляется развертыванием мифа о «спящей царевне»). Хотя уже, считает А. Белый, и ощутимо приближение «всемирного конца», однако «мы верим, что Ты <Россия. — Н. П.> откроешься нам, что впереди не будет *октябрьских туманов* и февральских желтых оттепелей. Пусть думают, что ты спишь еще во гробе ледяном»⁴⁵. В свою очередь, словосочетание «*октябрьские туманы*» является цитатой из «Трех разговоров» Вл. Соловьева. А. Белый сам указывает на это, приводя для объяснения в статье «Апокалипсис в русской поэзии» следующие строки из «Трех разговоров»: «Политик: «Не знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или в при-

⁴³ Н. А. Морозов. Откровение в грозе и буре..., с. 55.

⁴⁴ Об игре цифрами-цитатами в «Петербурге» говорится в статье В. Н. Топорова «О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления (*Преступление и наказание*): номер бляхи извозчика в «Петербурге» — «1905» — цитата из «Уединенного домика на Васильевском» Пушкина, где герой замечает у извозчика номер «666» («число Зверя») (см.: Structure of texts and semiotics of culture, p. 300).

⁴⁵ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 246.

роде что-то делается <...> ни одного облачка <...> а все как будто чем-то подернуто» <...> «Генерал: А еще вернее, что это *черт своим хвостом туман* на свет божий намахивает. Тоже *знаменье Антихриста!*».⁴⁶ Значение «дыма» у Вл. Соловьева включает в себя и значение тургеневского «дыма»: «дым» — одновременно и «симптом прогресса», и «симптом конца», в интерпретации В. С. Соловьева.⁴⁷ В романе «Петербург» важна также и проекция на «Подростка» Достоевского (ср.: «...гнилой, склизкий *город подымется с туманом и исчезнет как дым*»⁴⁸; отметим, что эта же цитата из Достоевского содержится в романе Д. С. Мережковского «Антихрист»: «Порою, в пасмурные утра, в *дымке грязно-желтого тумана*, чудилось ему <Тихону. — Н. П.>, что весь этот *город подымется вместе с туманом* и разлетится, как сон»^{48а}). Из пересказанной, сложным образом организованной, выстраивается ряд образов: «туман» / «морок» / «сон» / «болотная гниль» / «марев» / «дым» — каждый из них является реализацией обобщающего символа «Петербург» — символа «темного дыма всяческой провокации».

Из дальнейшего развития мыслей статьи «Апокалипсис в русской поэзии» становится понятным соотношение символики «тумана» («*октябрьских туманных денечков*») и «красного домино»: «Фантасмагория, *марев*, — пишет А. Белый в своей статье, — вот, что неизменно вырастает из соприкосновения двух противоположных начал мира. *Красный ужас борьбы, хохочущий на полях Манджурии*, а также заголосивший между нами *петух огня* — все это внешний покров *вселенской борьбы* <...> Все это — «маска красной смерти», в которую превращается «мировая гримаса», замеченная Ницше».⁴⁹ Символ «маски красной смерти» в статье «Апокалипсис в русской поэзии» многослоен: он вбирает в себя фольклорное значение «красного петуха» (= «мирового пожара»), «пророчества» Фр. Ницше о гибели культуры и смысл рассказа Л. Андреева «Красный смех» («*хохочущий красный ужас*»), посвященного русско-японской войне. Дальнейший контекст статьи «Апокалипсис в русской поэзии» придает этому символу еще одно значение, о котором мы уже упоминали выше, — «*призрака красного дракона*», «несущегося с Востока». При переносе символики «маски красной смерти» (заглавие рассказа Э. По) в «Петербург», она, сохраняя перечисленные значения, приобретает новые, за счет опосре-

⁴⁶ В. С. Соловьев. Собр. соч. Т. VIII. Спб., [б. г.], с. 556.

⁴⁷ Там же, с. 524.

⁴⁸ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 13. Л., 1975, с. 113.

^{48а} Д. С. Мережковский. Христос и Антихрист, т. III, с. 85.

⁴⁹ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 245.

дования смыслом стихотворения А. Белого «Маскарад», — значения «шутовства», «мирового маскарада»⁵⁰, «балагана». Интересно, что автоцитата из стихотворения «Маскарад» («Кто вы, кто вы, гость суровый...») соседствует с ситуационной цитатой из «Бесов» Достоевского. Мы имеем в виду сцену чтения в «Петербурге» «стихотворения» «неизвестного автора», начинающегося словами «Уехали фон Сулицы...» (Пб, IV, 105), аналогичную эпизоду «выступления» Липутина на празднике у губернатора, декламировавшего «стишок» скандального характера о гувернантке. Эта ситуационная цитата как бы еще раз привносит в роман элементы «шутовства». Заметим, что вся четвертая глава на композиционном уровне организована цитатно, о чем свидетельствуют заглавия отдельных ее главок, во многом пересекающиеся с названием глав в романе «Бесы» (ср.: «Роковое» — «Роковое утро» у Достоевского плюс автоцитата: «роковое домино»; «Бал», «Праздник», «Скандал» и др. То, что одной из главок четвертой главы А. Белый дает название «Скандал», говорит о том, что он хорошо понимал сюжетную значимость «скандальных сцен» в поэтике романов Достоевского). Таким образом, «шутовство», «марионеточность», гротескно соединяясь с символом «маски красной смерти», дают апокалиптический символ «красного домино», «конца всемирной истории».

* *
*

Из писателей и критиков — современников А. Белого — особенно значимы для него имена Р. В. Иванова-Разумника и Д. С. Мережковского. «Книга Мережковского о Толстом и Достоевском, — писал А. Белый, — казалась откровением в одиноких кружках».⁵¹ Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Сологуб были восприняты А. Белым, по его собственному признанию, сквозь призму работ Мережковского. Влияние Иванова-Разумника на личность и творчество писателя — вопрос, также не вызывающий сомнений. Об идейной зависимости А. Белого от указанных авторов можно судить хотя бы по следующему, центральному для его статьи «Настоящее и будущее русской литературы», строкам: «...отрицая догматы православия, принимаем религиозные символы; отрицая догматы марксизма, принимаем символы преображения земли».⁵² Выделен

⁵⁰ О «мировом маскараде нашей жизни», который был предсказан Ф. Сологубом, А. Белый пишет в статье «Апокалипсис в русской поэзии» (А. Белый. Луг зеленый, с. 326).

⁵¹ Андрей Белый. Арабески, с. 339 (статья «Люди с «левым устремлением»»).

⁵² Андрей Белый. Луг зеленый, с. 72.

ные нами курсивом слова — ядро полемических выступлений Д. С. Мережковского против официальной православной церкви и Иванова-Разумника — против марксизма.

Воздействие Иванова-Разумника сказалось и на отходе А. Белого от идей марксизма⁵³ и увлечении «неонародничеством» и «неославянофильством» (ср.: «С народовольцами сила, не с марксистами же» — Пб, II, 118). Идейные расхождения «неонародников» (эсеров) с марксистами были отражены А. Белым в «Петербурге». Это относится, главным образом, к спору по поводу будущих путей преобразования России: будет ли это путь эволюции или революции?

В программной эсеровской статье «Рабочего вестника» акцентировалась мысль об «истинной революционности» «неонародников», которая противопоставлялась «постепенным действиям» социал-демократов: «Мы социалисты-революционеры; они — социалисты-эволюционисты»⁵⁴, — гласила программа партии эсеров.

Однако проблема «эволюция или революция?» должна быть рассмотрена не только в контексте противопоставления народничества и марксизма. Это — только один из аспектов более важной для А. Белого проблемы «Европа — Россия». Здесь он опять-таки во многом следует за Мережковским. Д. С. Мережковский в статье «Цветы мещанства» (и в других статьях книги «В тихом омуте») развивает мысль о всеобщем «застое» европейской жизни: «постепенность, медленность, непрерывность развития для них <...> — внутренний закон духа».⁵⁵ Только с Россией он связывает надежды на «всемирно-исторический прерыв», на «внезапный переворот, апокалипсис «нового неба и новой земли». «Они — в эволюции, мы — в революции»⁵⁶, — заключает Мережковский.

В «Петербурге» имеется прямое название фамилии

⁵³ Об увлечении А. Белого социал-демократическими идеями в 1905—1906 гг. пишет Д. С. Мережковский в статье «Цветы мещанства», в которой он рассказывает о своей встрече с лидером французских социал-демократов Жоресом. С последним его познакомил как раз А. Белый. В этой же статье Д. С. Мережковский описывает митинг социал-демократов в Париже, на котором он присутствовал. Оценка Мережковским деятельности французских социал-демократов никак не отличается от общего негативного отношения его к Западной Европе, погрязшей, по его мнению, в «мещанстве». Восприятие Д. Мережковским «мещанской» Европы носит черты эсхатологии. Точно такие же ноты звучат и в описании виденного им митинга: «Что-то жуткое, вешее, как будто апокалипсическое, было в этой черной толпе <...> и в розово-голых смеющихся свиньях» <имеются в виду фигуры свиней на карусели. — Н. П.> (Д. С. Мережковский. В тихом омуте, с. 153—154). Можно предположить, что сцена митинга в «Петербурге» (Пб, III, 30—34) навеяна этой статьей Мережковского.

⁵⁴ Цит. по: С. Слетов. К истории возникновения партии социалистов-революционеров. Пг., 1917, с. 42. (Курсив подлинника. — Н. П.)

⁵⁵ Д. С. Мережковский. В тихом омуте, с. 147.

⁵⁶ Там же. (Курсив Д. С. Мережковского. — Н. П.)

К. Маркса: «Под влиянием той же светлой особы <Варвары Евграфовны Соловьевой. — Н. П.> ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без толку «Манифест» Карла Маркса» (Пб, II, 85). Сразу же, после упоминания имени Маркса, текст романа начинает пестрить словами «революция-эволюция»: «Социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова» (Пб, II, 85; см. также — II, 86, 89, 93 и др.).

Возможно, что здесь А. Белый цитирует также название брошюры чешского профессора Т. Масарика «Революция или эволюция?»⁵⁷, хотя мы не можем с полной уверенностью утверждать, что А. Белый был знаком с ней. Быть может, здесь — только, так сказать, «поверхностная» цитата, обусловленная любовью А. Белого к каламбурной игре созвучными словами, имеющими подчас противоположные значения (типа «кантианство — контианство»). Однако, как кажется, между обоими авторами имеются и более глубокие идейные схождения. Т. Масарик в конце XIX — начале XX вв. активно интересовался творчеством Ф. М. Достоевского и во многом перенял от него этико-христианские воззрения личного совершенствования. С этих позиций он и подходит к общественно-политическим вопросам, считая неприемлемым революционный переворот в обществе: «Эволюция — реформация, — пишет он, — без действительной реформы сердца и головы, без реформы мышления и нравов мы можем путем революции устранить дьявола, но зато посадим на его место Вельзевула».⁵⁸ Понятно, что при всей близости к идеям Достоевского, Т. Масарик не мог принять его «апокалиптического катастрофизма», как единственного, по Достоевскому, пути, ведущего к «Богочеловечеству». Точка схождения между А. Белым и Масариком лежит, прежде всего, в христианской идее личного подвига и личного совершенствования, но, видимо, А. Белого не устраивал постепенный реформизм Масарика. Ближе ему, конечно же, «апокалиптический катастрофизм» Достоевского.

В целом трудно говорить о каких-либо сложившихся социально-политических взглядах А. Белого периода написания романа «Петербург». Этому постоянно мешает авторская ирония, стремление превратить сколь-либо важную проблему в каламбур, к которому, по его воспоминаниям, он свел весь роман.⁵⁹ Скорее всего, его идеал «грядущей России» — где-то

⁵⁷ См.: Т. О. Масарик. Начала социалистического общества (Главные вопросы марксистской политики). I. Революция или эволюция? II. Марксизм и парламентаризм. Спб., 1906.

⁵⁸ Там же, с. 32.

⁵⁹ Об этом см.: Андрей Белый. Мастерство Гоголя. М.—Л., 1934, с. 305.

в очень «далеком будущем»: «...и не может быть *никаких ответов пока; ответ будет после* — через час, через год, через пять, а пожалуй, и более — через сто лет, *через тысячу лет; но ответ — будет!*» (Пб, VII, 122). В этих строках отражены спор А. Белого с В. Брюсовым, во-первых, и, во-вторых, его полемика с Д. С. Мережковским. А Белый цитирует письмо В. Брюсова 1904 г., в котором Брюсов продолжал начатый А. Белым разговор о будущем переустройстве общества и о роли художника в этом процессе. В. Брюсов пишет, что сейчас, в условиях настоящей русской действительности, рано говорить о «новой жизни»: «Да я знаю, наступит иная жизнь для людей, не та, о которой наивно мечтал Ваш Чехов»,⁶⁰ но пока, продолжает он, «мы можем предвидеть, может принять ее в себя» и «научиться молчать» о ней.⁶¹ Соглашаясь с В. Брюсовым в том, что в настоящий момент трудно дать какой-либо «ответ», А. Белый, как представляется, не принимает его пассивной общественной позиции. А. Белый не приемлет также и схоластически-религиозных построений Д. С. Мережковского, в частности, идей его книги «Не мир, но меч». Мережковский, мыслит «будущее» как «синтез» «откровения Сына» и «откровения Отца» в «откровении Духа». Заключительная статья цикла Мережковского «Не мир, но меч» носила довольно-таки тенденциозное название — «*Ответ на вопрос*». А. Белый как бы опровергает «заявление» Мережковского: «и не может быть *никаких ответов пока*» (Пб, VII, 122). Не соглашается А. Белый и с той оценкой творчества А. П. Чехова, которую давал Мережковский в статье «Чехов и Горький». Мережковский, как и В. Брюсов, считает слишком «наивным» лейтмотив чеховского творчества: «*Через двести, триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь*».⁶² Таким образом, в рассматриваемой нами фразе из «Петербурга» содержатся одновременно минимум три «точки зрения» на «грядущее» развитие России: Чехова, Брюсова, Мережковского. О позиции А. Белого можно только предположительно сказать, что он мыслит будущее изменение катастрофически, как «мгновение» (Пб, VII, 123), к которому нужно идти долгим путем личного совершенствования (здесь позиция «атеиста» Чехова сближается с антропософско-христианскими взглядами А. Белого 1910-х гг.). Напомним в связи с этим о важности антропософских идей Р. Штейнера в «Петербурге», в основе которых лежит учение, что все зло, которое нас окружает, является

⁶⁰ Цит. по: Андрей Белый. Начало века, с. 143.

⁶¹ Там же, с. 143, 144.

⁶² См. Д. С. Мережковский. Грядущий Хам. Спб., 1906, с. 85 (в данном случае Мережковский приводит строки из рассказа А. П. Чехова «Студент»).

порождением нашего же сознания.⁶³ Отсюда следовал естественный вывод — нужно убить зло в себе самом.

* * *

Очень важную роль в идейной структуре романа «Петербург» играют так называемые «антимещанские» выступления в первую очередь Мережковского и Иванова-Разумника, а также Блока, Горького, Сологуба и др. Уже в статье «Апокалипсис в русской поэзии» А. Белый, наряду с лекциями В. С. Соловьева о «Конце всемирной истории», выделяет, как «пророческую», статью Мережковского «Грядущий Хам»: «Я знал, — пишет он, — над человечеством разорвется фейерверк химер. И действительность не замедлила подтвердить эти ожидания: *раздались слова Д. С. Мережковского об апокалиптической мертвенности европейской жизни, собирающейся явить Грядущего Хама*».⁶⁴

В «Петербурге» содержится несколько скрытых цитат из «Грядущего Хама» Мережковского, которые как бы предваряют эпиграф ко второй главе романа из «Моей родословной» Пушкина: «Я мещанин, как вам известно, / И в этом смысле демократ».

Анализируя современное «мещанство» Европы (включая, с оговорками, и Россию), Мережковский называет его «прародину» — «нехристианский Восток». Для подтверждения высказанных идей Мережковский обращается к статье А. И. Герцена «Концы и начала» (1863). В последней, как известно, развиваются мысли английского политэконома, одного из первых «провозвестников» гибели европейской культуры Дж. Ст. Милля. Мережковский в «Грядущем Хаме» цитирует следующие строки герценовской статьи: «*Мещанство — это самодержавная толпа сплоченной посредственности* Ст. Милля, которая всем владеет, — толпа без невежества, но и без образования <...> Милль <...> с отчаянием смотрит на *подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты* <...> Милль прямо говорит, что по этому пути *Англия делается Китаем*, — мы к этому прибавим: *и не одна Англия*».⁶⁵ Аналогичные выдержки из статьи Герцена приводит в своей

⁶³ Сама завязка сюжета «Петербурга» связана с учением Р. Штейнера: «праздная мозговая игра» сенатора вызывает к жизни несостоявшегося убийцу — «незнакомца с черными усиками», Александра Ивановича Дудкина, который «забытийствовал» далее прямо уже в желтоватых невских пространных» (Пб, I, 41); ср. также: «Раз мозг его <Аполлона Аполлоновича. — Н. П.> разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот — есть <...> не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль — существует» (Пб, I, 73).

⁶⁴ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 225.

⁶⁵ Д. С. Мережковский. Грядущий Хам, с. 4.

книге «История русской общественной мысли» Иванов-Разумник.⁶⁶

В «Петербурге» идеи Милля — Герцена — Мережковского — Иванова-Разумника цитируются как бы в два приема. Поначалу дается «сигнал» дальнейшей, более развернутой цитаты из «Грядущего Хама» Мережковского: «...квартального надзирателя задирал пренахально: рабочий <...> *мещанин Иван Иванович Иванов* с супругой Ивановой, даже лавочник — первой гильдии купец Пузанов, от которого в лучшие времена недавно минувшие околоточный надзиратель разживался то осетринкой, то семушкой, то зернистой *икоркой*; то теперь вместо семушки, осетринки, *зернистой икорки* на квартального надзирателя вместе с прочею «сволочью» вдруг восстал <...> купец Пузанов» (Пб, II, 106). Здесь выделяются три семантически соотносимые с идеями перечисленных выше авторов группы образов: 1) «*мещанин Иван Иванович Иванов*» (так сказать, «поименованная посредственность»), 2) «*зернистая икорка*» и 3) «сволочь». Последнее представляет собой, во-первых, пересказ: А. Белый — через книгу Мережковского «Грядущий Хам» — цитирует строки из Горького (ср. «...босьяки Горького, — пишет Мережковский, — «внутренние аристократы» — презирают мужика <...>: «Я всех мужиков не люблю — они *сволочи!* <...> *Я мещанин*».⁶⁷ Во-вторых, «сволочь», по всей вероятности, — автоцитата: «обозной *сволочью*» А. Белый называл эпигонов символизма (о чем речь пойдет ниже).

После цитат-«сигналов» в романе идут слова об Александре Ивановиче Дудкине, который оказался «выкинутым» на Невский проспект: «...так *икринкой* вдавался он в чернотой *текущую гуцу*. Что такое *икринка*? Она есть *и мир, и объект потребления*; как *объект потребления, икринка* — представляет собой удовлетворяющей цельности; таковая цельность — *икра: совокупность икринок; потребитель не знает икринок; он знает икру*, то есть *гуцу икринок*, намазанных на поданном бутерброде» и т. д. (Пб, VI, 26—27). Ясно, что такое навязчивое повторение слов «*икринка*», «*икра*» вместе с «политэкономическим» термином «*объект потребления*» образует смысл, который должен прочитываться не только в нейтральном контексте. Приведенный иронический отрывок из «Петербурга» — несомненная переключка идей романа с «антимещанскими» настроениями вышеназванных авторов.

⁶⁶ См. Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Т. I—II. Изд. 4-е. Спб., 1914, с. 372—373. (См. также: А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 тт. Т. XVI. М., 1959, с. 137.)

⁶⁷ Д. С. Мережковский. Грядущий Хам, с. 64 (статья «Горький и Чехов»).

Основой мещанства Милль и Герцен, а также Мережковский и Иванов-Разумник считают «европейский позитивизм», все более и более, по их мнению, сближающийся с застывшим, мертвым, «восточным» позитивизмом (конфуцианством) (ср. у Мережковского: «Китайцы — совершенные *желтолицые позитивисты*»⁶⁸). А. Белый вполне ясно излагает «родословную» (ср. эпиграф из «Моей родословной» Пушкина!) семьи Аблеуховых: «китаизм» — «позитивизм» — «мещанство». Ср.: «На исходе четвертого царства он <Николай Аполлонович. — Н. П.> был на земле развратным чудовищем <...> после был он в Китае <...> и сравнительно недавнее время <...> Николай Аполлонович прискакал в эту Русь <...> после он воплотился в кровь русского дворянина» (Пб, III, 207). «Позитивистский монголизм» семьи Аблеуховых, по мысли А. Белого, реализовался в «современной провокации»: «...на Руси принялся за старое: и как некогда он перерезал там тысячи, так нынче хотел разорвать: бросить бомбу в отца» (Пб, II, 207).

А. Белый, как и Мережковский и Иванов-Разумник, понимает, что мещанство — явление, присущее не только Западной Европе, оно не минует и России: «А с Петербургом что будет?» — Да что: *кумирню какую-то строят китайцы*, — пророчествует Степка (Пб, II, 147), ср. в «Грядущем Хаме»: мещанство — это «*китайская стена сплоченной посредственности*».⁶⁹ (В главке «Степка» А. Белый еще раз подчеркивает свою зависимость от «чужих» идей, по всей видимости, Герцена — ср.: «А какой ефто *барин* писал?» — «Да, *заграницей* он, из *политических ссыльных*», Пб, II, 148.)

В связи со сказанным выше можно, вероятно, слова А. Белого о борьбе с «желтой опасностью», о «Новой Калке», о новой «Куликовой битве» интерпретировать и как антимещанские выступления. А. Белый говорит прежде всего о борьбе с «мещанством» внутренним, которое не замедлит привести человечество к гибели.⁷⁰

* * *

В духе идей Мережковского, в частности его концепции «серой посредственности», понимает А. Белый проявление различного рода эпитонства в искусстве («литературного хули-

⁶⁸ Д. С. Мережковский. Грядущий Хам, с. 7.

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ Ср. аналогичные настроения, отраженные в дневниковых записях А. Блока: «...позевываем над желтой опасностью, а *Китай уже среди нас* <...> Остается маленький последний акт: *внешний захват Европы*» (Дневники А. А. Блока. 1911—1913. Л., 1929, с. 40).

ганства», по выражению Мережковского⁷¹). В 1906—1908 гг. А. Белый активно выступает против «мистических анархистов» (главным образом против адептов этого анархистского общественно-литературного движения Вяч. Иванова и Г. Чулкова).⁷² Мережковский же в эти годы отрицательно относится почти ко всей современной литературе, считает, что она насквозь пронизана духом «механства», духом «хлестаковщины»: «Дух Хлестакова, — пишет Мережковский, — сказывается и в нашей современной декадентской резвости <...> «Я им всем управлял стихи», — мог бы сказать Хлестаков и о новейших поэтах».⁷³ Точно так же думает и А. Белый: «литературное хулиганство» — это одна из сторон «всяческой провокации», «провокаторами духа» называет он литературных эпигонов.⁷⁴ В статье «Брюсов» (1907), противопоставляя «правду формы», истинное, по мнению А. Белого, искусство Брюсова-поэта творчеству других писателей-современников, он предупреждает их об опасности «продать идеалы» за «чечевичную похлебку славы». «И когда мы так поступаем, — говорит он дальше, — Брюсов властно напоминает о долге <...> вытравляет из нового искусства *дух провокации, профанации и разгильдяйства*».⁷⁵

Каждый писатель должен быть ответствен, считает А. Белый, перед культурой грядущей России, поскольку «только искусству дается одна лазейка; оно есть религиозная потребность духа <...> то есть *преображение себя и других*».⁷⁶ Современному литературному «хулиганству» А. Белый противопоставляет — как неизменную ценность — классическую русскую литературу XIX в., литературу действенную и вместе с тем «пророческую»: «Толстой, Достоевский, Гоголь — все трое величайшие русские художники <...> все трое связали новое человечество с новой, им приснившейся Россией, все трое религиозно осознали свое отношение к родине».⁷⁷ Образы русской литературы XIX в. он считает «живыми символами» современности, которые «освещают путь к будущему».^{77а} Из этих высказываний А. Белого становится понятным то постоянное обращение к классической русской литературе, в частности к ее

⁷¹ Д. С. Мережковский. В тихом омуте (статья «Мистические хулиганы»).

⁷² Назовем некоторые из полемических статей А. Белого, направленных против «мистических анархистов», «О проповедниках, гастрономах, мистических анархистах и т. д.», «Детская свистулька», «Люди с «левым устремлением», «Штемпелеванная калоша», «Вольноотпущенники» и др.

⁷³ Д. С. Мережковский. Хлестаков (характеристика). — В кн.: В. И. Покровский. [Сост.]. Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь и сочинения. М., 1910, с. 255—256.

⁷⁴ Андрей Белый. Арабески, с. 346.

⁷⁵ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 199.

⁷⁶ Андрей Белый. Трагедия творчества..., с. 18.

⁷⁷ Там же, с. 9—10.

^{77а} Андрей Белый. Луг зеленый, с. 64.

«вершинам» — Толстому, Достоевскому, Гоголю; которое мы наблюдаем в «Петербурге». Не вызывает сомнений, что столь пристальное внимание А. Белого к вопросам истории литературы не могло не сказаться на его художественном творчестве. Отсюда — такая тесная взаимосвязь его историко-литературных и общественно-публицистических статей и романа «Петербург».

Книга А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» раскрывает еще одну существенную проблему романа: участь художника в условиях современной ему действительности. Трагедия творчества, которая постигла даже таких гениальных писателей, как Гоголь, Достоевский, Толстой, заключается в «невоплотимости» «гениальности» в любой исторической реальности.⁷⁸ Между художником и обществом, считает А. Белый, идет «вечная тяжба», исходом которой могут быть только две возможности: «...один исход этой тяжбы — признание гения за безумца» и другой исход «сойти с ума».⁷⁹ «Сойти с ума» — цитирование пушкинского «Не дай мне бог сойти с ума...». (Это же стихотворение Пушкина А. Белый цитирует в статье «Апокалипсис в русской поэзии» — ср.: «Соловьев указал на личину безумия, грядущего в мир, и призвал всех обуреваемых призраком углубиться, чтобы не сойти с ума».⁸⁰) Полная первая строка из этого стихотворения взята в качестве эпиграфа к четвертой главе романа «Петербург». В четвертую же главу А. Белый вводит автоцитату из стихотворения «Маскарад». Таким образом, смысл стихотворения Пушкина получает статус «вечной проблемы», с одной стороны, а, с другой, проецируется на «трагедию творчества» самого А. Белого. В данном случае еще раз подтверждается известная сознательно выстроенная авторская модель: дурак — шут — Арлелин — пророк — Христос.⁸¹ Приведем строки из стихотворения А. Белого «Утро» (цикл «Безумие»), в котором еще до написания «Трагедии творчества...» сформулированы главные ее идеи:

...
Внемлите, ловите: *воскрес я* — глядите: *воскрес*.
Мой гроб уплывет — *золотой в золотой лазури*.
Поймали, свалили; на лоб положили компресс.⁸²

(Думается, что весь цикл «Безумие» является как бы «развер-

⁷⁸ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 18.

⁷⁹ Там же, с. 19.

⁸⁰ Там же, с. 238.

⁸¹ В мемуарах «Начало века» А. Белый вспоминает, что в кругу современников для него была создана некая «модель поведения», от которой он не был вправе отступать: «Эллис считал меня *«безумцем»*, которого участь — *распяtie в камере сумасшедшего дома* (Начало века, с. 48).

⁸² Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966, с. 245.

нотой вариацией» темы, заданной в стихотворении Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума...».)

Другое стихотворение Пушкина, «Жил на свете рыцарь бедный...», которое в кругу писателей-символистов стало своеобразным символом поэта — «непризнанного пророка», процитированное в «Петербурге», дает возможность по-новому интерпретировать образ «печального и длинного» (неузнанного Христа, ходящего среди людей, по единодушному признанию всех исследователей творчества А. Белого).

Опосредованное Пушкининым обращение русских символистов к роману Сервантеса «Дон-Кихот» знаменательно. Изучение восприятия этого романа в начале XX в. особенно важно для понимания проблемы иронии в творчестве символистов. «Дон-Кихот» становится своего рода мифологемой (как, например, и у романтиков йенской школы), реализующейся в творчестве Мережковского, Ф. Сологуба, А. Блока, А. Белого и др. (ср. хотя бы идею «*дульцинирования* действительности» Ф. Сологуба). Трактовка символистами мифа о Дон-Кихоте в достаточной степени полно отражена в одном из ранних стихотворений Д. Мережковского «Дон Кихот» (1887):

...
И любовь и вера святы,
Этой верою согреты,
Все великие безумцы,
*Все пророки и поэты!*⁸³

Роман «Петербург» связывается со стихотворением Пушкина, во-первых, строкой из шуточного стихотворения романа «Н. А. А. — кто ж он?» (Пб, III, 19), где аббревиатура «Н. А. А.» аналогична пушкинской «АМД». Во-вторых, характеристикой «печального и длинного»: «Но *печальный и длинный* повелел ей <Софье Петровне. — Н. П.> *молчать*» (Пб, IV, 107; эта фраза повторена в главке «Белое домино» несколько раз). Ср. у Пушкина: «*Молчаливый* и простой, / С виду *сумрачный и бледный*» и «Все влюбленный, все *печальный*».

Цитирование «Жил на свете рыцарь бедный...» в «Петербурге» свидетельствует о том, что ноты горькой иронии в адрес былых надежд на преобразование действительности силой искусства, несмотря на увлечение антропософскими идеями, сохраняются в творчестве А. Белого и в 1910-е гг. Современный поэт в «условиях настоящей действительности» — это «рыцарь бедный», участь которого или «замкнуться в себе», или надеть «дурацкий колпак» (=ирония=маска)⁸⁴. Так

⁸³ Поэты 1880—1890-х годов. Изд. 2-е. Л., 1972, с. 158.

⁸⁴ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 146 и др.

раньше писал А. Белый, например, о Мережковском: «Про автора «Трилогии» можно сказать, что он имел *«одно виденье, непостижное уму»* <...> Он увидел Лик Единный <...> С той поры стал *рыцарем будущего — рыцарем бедным*».⁸⁵ «Рыцарем бедным» называли символисты В. С. Соловьева (см. статьи Мережковского «Немой пророк», А. Блока «Рыцарь-монах»). Наряду с именами Вл. Соловьева и Д. Мережковского, в образ «печального и длинного» можно включить еще некоторых современников А. Белого: М. С. Соловьева, А. Блока, А. Добролюбова⁸⁶, С. М. Соловьева (и, конечно же, сюда войдет сам А. Белый). К личности М. С. Соловьева (брата В. С. Соловьева) отсылает имя «печального и длинного» — *Миша* («*Мишей* она тогда его называла» — Пб, VI, 70; ср. также в поэме «Первое свидание»: «*Михал Сергееч Соловьев / Дверь отворивши мне без слов, / Худой и бледный, края плэдом / Давно простуженную грудь...*»⁸⁷ и т. д.). Ангел Пери принимает «печального и длинного» за своего мужа *Сергея Сергеевича* (Пб, IV, 106). «Сергей» — имя одного из самых близких друзей А. Белого С. М. Соловьева (сына М. С. Соловьева); прием «удвоения» имени, кроме того, по-видимому, связывается с именем Блока — Александр Александрович.⁸⁸ «Печальный и длинный» — в то же время — «белое домино»; противопоставление «белое домино» — «красное домино» в «Петербурге» вызывает ассоциации, связанные с «Балаганчиком» Блока и стихотворением Белого «Маскарад» (ср. такую деталь: «белое домино» оказывается с «деревянной рукой», Пб,

⁸⁵ Андрей Белый. Луг зеленый, с. 146.

⁸⁶ О проекциях Дон-Кихот — «рыцарь бедный» — А. Добролюбов см. в первой части нашей работы (с. 91—92).

⁸⁷ Андрей Белый. Стихотворения и поэмы, с. 413.

⁸⁸ Л. К. Долгополов, например, считает, что «неузнанный» Николаем Аполлоновичем Сергей Сергеевич (Пб, VII, 123—124) — это А. Блок; в данном случае в романе отражен биографический факт — встреча А. Белого и А. Блока в Петербурге (см. Л. К. Долгополов. Образ города в романе Андрея Белого «Петербург». — Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, т. 34, № 1, с. 56). (О других прототипах образа Сергея Сергеевича см.: Л. К. Долгополов. Символика личных имен в произведениях Андрея Белого, с. 350.)

Отметим также, что в статье В. Н. Топорова «К рецепции поэзии Жуковского в начале XX века. Блок — Жуковский: проблема реминисценций» указывается, что при создании образа Дарьяльского в повести «Серебряный голубь» А. Белый использовал некоторые черты личности А. Блока. Это по мнению В. Н. Топорова, было «ответом на пародию» в «Балаганчике» и цикле стихотворений «Пузыри земли» А. Блока (см. Russian Literature, v. 4, oct., p. 358, 372). Названный цикл А. Блока пародируется и в «Петербурге» — в одном из стихотворений романа: «*Дурачек, простачек / Коленька танцует: / Он надел колпачек — / На коне гарцует*» (Пб, III, 26). Ср. также в ренессансе А. Белого на цикл стихотворений А. Блока «Нечаянная радость»: «Вместо «Сиянья красных лампад» мы видим болотных чертенят, у которых «*колпачки* за дом и вперед» (Андрей Белый. Арабески, с. 460).

IV, 106, — очевидная ироническая отсылка к «Балаганчику» Блока).

Несомненны переклички идей «Петербурга» с циклом стихотворений А. Белого «Королева и рыцари» (1909—1911). В этом цикле ирония (ср., например, стихотворение «Шут») переплетается с антропософскими представлениями о конечной победе доброго начала — Света (= Солнца = Христа) (ср. «Кинулись: *струи солнца...* / Кинулись *тени: прочь!*»⁸⁹), которую несут «рыцари дальних стран» (стихотворение «Голос прошлого»⁹⁰). Отсюда становится понятным соединение в образе «печального и длинного» в «Петербурге» образа Христа и мифологизированного образа «рыцаря бедного» (Дон-Кихота). (Ср. в цикле «Королева и рыцари»: «*Тяжелый, / Червонный / Крест — / Рукоять / Моего / Меча*»⁹¹).

* *
*

В основе мифологизации романа «Петербург» лежит т. н. принцип «*проигрывания*». «*Проигрывание*» — слово А. Белого. Его смысл хорошо объясняет органически присущую творчеству писателя способность «вживаться» в «чужой текст», создавать, параллельно с «реальной», «третью», «мифологическую», действительность. Приведем несколько пространные выдержки из книги мемуаров А. Белого «На рубеже двух столетий», которые глубже, чем любой их пересказ раскроют характер его «мифотворчества». Воспоминания относятся к детским годам: «Период *перманентной игры* обнимает десятилетие; она — *вторая действительность*: в ней — мальчик — «герой»: *установление связей между отдельными моментами нескончаемого сюжета, имеющего своей сферой историю*; она <игра. — Н. П.> длилась до времени серьезного изучения Шопенгауэра, Милля и символистов; попутно, ознакомляясь с «героями» истории, я их отбирал, перелагая на свой лад; «он», выросший из Кожаного Чулка плюс Скобелева, скоро включил и Суворова <...> (*переработанная история 1812—1814 годов, но приуроченная к 1896 году*)».⁹²

«Проигрывание» мифологических, литературных и исторических сюжетов осуществляется в романе А. Белого со значительными семантическими и сюжетными сдвигами. Размываются границы исторического времени, и «проигрываемый» «миф о Петербурге» мифологизирует самую историю. Глубокое чувство

⁸⁹ Андрей Белый. Стихотворения и поэмы, с. 350.

⁹⁰ Там же, с. 347.

⁹¹ Там же, с. 347—348.

⁹² Андрей Белый. На рубеже двух столетий, с. 225—226.

неразрывности авторского «я» с историей, уверенность в том, что в историческом процессе ничто не исчезает бесследно, и, наконец, осознание возможности «творить» историю, — все это нашло отражение при создании символических образов «Петербурга».

Каждый из поставленных в романе «современных» вопросов просцируется на «вечные проблемы» путем развертывания мифологем на сюжетном уровне (например, терроризм, провокация, русско-японская война, бюрократизация, «мещанство» и т. д. России начала XX в. — все это, в конечном счете проявление Мирowego Зла, в антропософском смысле).

Принцип «проигрывания» двойствен: наряду с глубоким историзмом, он ориентирован на игру, шутку, иронию. Его соединение с принципом цитатности, позволяющим в одном видеть многое, сталкивать антитетичные смыслы и т. д., и дало, на наш взгляд, автору «Петербурга» возможность создать одно из самых ироничных и, вместе с тем, самых трагичных произведений литературы начала XX в.

Во многом ирония А. Белого близка романтической иронии. (Ср. высказывание Фр. Шлегеля: «Кажимость самоуничтожения есть явление безусловной свободы, самосозидания» и «...эпическое остроумие является полемической игрой»⁹³). Однако есть и существенное отличие: в романе А. Белого нет свойственного романтикам столь резкого противопоставления «мечты», «идеала», «сказки» и «действительности». Отличен в этом «Петербург» и от произведений других писателей-символистов — вспомним хотя бы романы Ф. Сологуба «Тяжелые сны», «Навыи чары» и даже «Мелкий бес». «Быт», «история», «реальность» в романе «Петербург» сосуществуют рядом с мифом, литературой, а не противопоставлены им.⁹⁴

⁹³ Цит. по: Р. М. Габитова. *Философия немецкого романтизма*. (Фр. Шлегель. Новалис). М., 1978, с. 85—86.

⁹⁴ Выражаю искреннюю благодарность З. Г. Минц за ценные замечания и оказанную помощь в работе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ю. М. Лотман. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры	3
М. Б. Плюханова. История юности Петра I у П. Н. Крекшина	17
И. В. Душечкина. В. К. Треднаковский и А. Н. Радищев (о путях литературной преемственности)	40
Л. Н. Киселева. Система взглядов С. Н. Глинки (1807—1812 гг.).	52
П. С. Рейфман. К истории славянофильской журналистики (статья третья)	73
Н. Г. Пустыгина. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург» (статья вторая)	86

Ученые записки Тартуского государственного университета. Выпуск 513. Проблемы литературной типологии и исторической преемственности. Труды по русской и славянской филологии XXXII. Литературоведение. На русском языке. Тартуский государственный университет. ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18. Ответственный редактор Ю. М. Лотман. Корректор В. Логинова. Сдано в набор 22. 06. 1979. Подписано к печати 11. 03. 1981. Печ. листов 7,25. Учетно-изд. листов 8,02. Бумага печатная № 2. 60×90¹/₁₆. МВ 01199. Заказ 2542. Тираж 1000 экз. Типография им. Ханса Хейдеманна, ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. II.
Цена 1 руб. 20 коп.